



ЗАВЕЩАНИЕ МУЖЕСТВА

Table of Contents

[Annotation](#)

[Семен Гудзенко Завещание мужества](#)

[Евг. Долматовский «Каждый помнит по-своему...»](#)

[1941-1943 гг. Стихи. Из записных книжек](#)

[Память](#)

[Перед атакой](#)

[Отдых](#)

[Сапер](#)

[Трава](#)

[Первая смерть](#)

[Подрывник](#)

[Баллада о дружбе](#)

[Лист](#)

[Письмо с Волги](#)

[Надпись на камне](#)

[«Я был пехотой в поле чистом...»](#)

[1941-1942 гг.](#)

[1944-1945 гг. Стихи. Из записных книжек](#)

[Послесловие 1945 года](#)

[Мое поколение](#)

[«После марша и ночной атаки...»](#)

[«На снегу белизны госпитальной ...»](#)

[«В Праге хоронят погибшего после победы майора...»](#)

[Вторая атака](#)

[1944-1945 гг.](#)

[1946-1952 гг. Стихи Главы из поэмы «Дальний гарнизон» Из записных книжек](#)

[Послесловие 1946 года](#)

[«Мы не от старости умрем...»](#)

[Добрый дождь](#)

[Год рождения](#)

[Закарпатье](#)

[Баллада о трактористе](#)

[Дорога в Карпатах](#)

[«Я в гарнизонном клубе за Карпатами...»](#)

[«Чтоб увидеть прошлое яснее...»](#)

[«Безгранична степь...»](#)

[Катюша](#)

[«Я пришел в шинели жестко-серой...»](#)

[«И снова жизнь...»](#)

[Дальний гарнизон \(Главы из поэмы\)](#)

[1946-1952 гг.](#)

Воспоминания друзей

Расул Гамзатов Памяти Семена Гудзенко

К. Лазнюк, командир отряда ОМСБОН Боец-комсомолец

Илья Давыдов, врач батальона 2-го полка бригады особого назначения Начало пути

Михаил Луконин Талант на гребне жизненных испытаний

Павел Антокольский «Мы никогда не отпрощаемся с тобою...»

Василий Субботин Поколение

Александр Межиров Памяти друга

Л. Саховалер, командир отделения, однополчанин Что вспомнилось...

Яков Хелемский Третий пути

Юрий Левитанский Памяти ровесника

Лев Озеров Словарь русского языка

В. Ларцев, доцент Самаркандского университета В Самарканде

Юрий Окунев «Упал, метнув гранату...»

Владимир Беляев Друг из Москвы

Примечания

1

2

3

4

5

Annotation

Семен Гудзенко принадлежит к тому молодому поколению, которое по зову Родины ушло на фронт, которому «досталась нелегкая участь солдат».

Его короткая и напряженная жизнь была яркой и яростной.

Родился Семен Гудзенко в 1922 году в Киеве. Его отец был инженер, мать — учительница. В 1936 году — четырнадцати лет — Семен вступил в ряды комсомола; в пятнадцать лет стал писать стихи; в 1939 году начал учиться в Московском институте философии, литературы и истории (ИФЛИ); в июне 1941 года — девятнадцати лет — добровольцем ушел на фронт. Великую Отечественную войну прошел солдатом от первого до последнего ее дня.

Тяжелое ранение, полученное на фронте, жестоко напомнило о себе через несколько лет после войны, словно подтверждая ранее сказанные в одном из стихотворений слова поэта:

Мы не от старости умрем —

От старых ран умрем...

И сколько лет ни прошло, емки строчки его как бы стреляющих стихов, таких, как «Память», «Перед атакой», «Сапер», «Баллада о дружбе», «Мое поколение» и других, поэма «Дальний гарнизон» будут с интересом прочитаны молодежью, до которой муза поэта донесла суровую память борьбы с фашизмом, гордую романтику подвига и бессмертие тех безымянных героев, которые положили на алтарь Отечества свою молодость и жизнь ради светлого будущего.

Издательство «Молодая гвардия» просит читателей направлять отзывы на книгу С. Гудзенко «Завещание мужества» по адресу: «Москва, А-30, Сущевская ул., 21, изд-во „Молодая гвардия“».

семен
гудзенко

ЗАВЕЩАНИЕ МУЖЕСТВА

СТИХИ.
ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ «ДАЛЬНИЙ
ГАРНИЗОН».
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК.
ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ.

Составитель О. ГУДЗЕНКО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1971

Семен Гудзенко
Завещание мужества



Анкета поэта

Фамилия: Гудзенко

Имя: Семен

Год рождения: 1922-й

Род занятий: студент

Комсомольский билет № 1002692

Воинское звание: рядовой

Местожительство в Москве: Арбат,
на фронте: действующая армия

Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией», медаль «За оборону Москвы», медаль «Партизану Великой Отечественной войны», медаль «За взятие Будапешта», медаль «За взятие Праги»

Евг. Долматовский

«Каждый помнит по-своему...»

Я получил письмо от туристов-краеведов Думиничской одиннадцатилетней школы:

«...Извините за беспокойство. Дело в том, что мы создаем в школе краеведческий музей. В отделе „Они сражались за Родину“ нам необходимо иметь материал о воинах, воевавших в нашем районе. Изучая историю Отечественной войны в районе, мы узнали, что С. Гудзенко был у нас. Кроме того, мы читали в журнале „Юность“ вашу заметку о поэте Семене Гудзенко. Поэтому убедительно просим...»

Да, я должен рассказать вам, школьники из Думиничей, о человеке, поэтическая история жизни которого слилась с историей Отечественной войны в вашем районе.

В ваших краях сражались партизаны-десантники, московские комсомольцы из той самой группы, к которой принадлежала Зоя Космодемьянская. И был в их числе лыжник Семен Петрович Гудзенко. Там, у вас, среди перелесков и сожженных сел, он писал:

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

В вашем районе было ему девятнадцать лет и стало двадцать. И он был ранен в бою, страшно ранен (в записной книжке его сохранилась запись: «Рана — аж видно нутро»).

Потом его долго везли на санях, несли на руках, переправили через линию фронта.

Вот тогда мы, поэты, впервые услышали о Семене Гудзенко, о том, что в Москве появился раненый десантник с замечательными стихами. Я, например, узнал об этом от товарищей, приехавших из Москвы на фронт. А потом мне случилось несколько дней провести в Москве, и мы встретились.

В Семене Гудзенко я узнал одного из тех юношей, которых в довоенные времена называли ифлийцами. В Институте философии, литературы и истории (ИФЛИ), позже влившемся в МГУ, сошлось немало талантливых молодых людей, самозабвенно любивших поэзию. Я не оговорился, вспомнив, что они самозабвенно любили поэзию, и не собираюсь унижать этим дело, которому посвятил свою жизнь. Но бывает в юности, что любовь к поэзии заслоняет перед талантливым начинающим жизнь. Жизнь воспринимается через чужие стихи, и в ущерб собственным способностям эти чужие стихи подчиняют себе и творчество, и поведение, и развитие, мешают окрепнуть чуть прорывающемуся собственному голосу.

Опасность литературщины угрожала юным ифлийцам. У них не было еще жизненного опыта, они чаще шли от поэзии, чем от жизни. Но в основе их советского воспитания был прочный фундамент: всей логикой своего коротенького пути они были прежде всего комсомольцами, прежде всего бойцами. Поэзия жизни занимала главенствующее положение в их сознании. Конечно, они горевали, что не успели на строительство Днепрогэса, Магнитки и Комсомольска; война в Испании была их болью; на финский фронт они рвались в лыжные эскадроны, а на Отечественную войну ушли прямо с зачетов и экзаменов лета тысяча девятьсот сорок первого года.

И немало ифлийцев сражалось на территории вашего района, дорогие товарищи юные краеведы из Думиничской школы.

Дальше поэтическая и военная судьба Гудзенко уже не связана с вашим районом. Ну что ж, приходит срок прощанья с колыбелью, а память остается, и каждый помнит по-своему.

Гудзенко был всего на семь лет моложе меня, но он принадлежал к другому поколению, потому что для меня Великая Отечественная война была уже третьей войной и порой восьмой книги, а для Семена — первым боем и порой первой стихотворной тетрадки.

Ранение Гудзенко было настолько серьезным, что его не признавали больше годным к военной службе и, уж во всяком случае, к труднейшей работе десантника-партизана.

Можно было остаться в Москве, обедать в клубе писателей, писать стихи. О поэте говорят, сам Эренбург его похвалил, и Алексей Толстой с ним здоровается. Но Семен Гудзенко вскоре оказывается на берегах Волги, в превращенном в руины городе-герое. Волжская битва закончилась. Молодежь поклялась восстановить город, хотя даже в самых доброжелательных западных газетах писалось тогда, что это невозможно.

В одном из подвалов (а в городе были только подвалы, с поверхности все было сметено) разместилась выездная редакция «Комсомольской правды». В каждом номере газеты-листки были стихи, статьи, лозунги Семена. Он и спал тут же, на редакционном столе, подложив под голову комплект газет.

В молодежных бригадах все знали юного корреспондента с еще не отросшими после госпитальной машинки волосами, в шинели, на которой к следам военных костров прибавились капли известки. Здесь Семен Гудзенко получил первую правительственную награду — медаль «За трудовую доблесть». Вскоре поэт снова уехал на фронт, и к трудовой медали прибавился боевой орден Красной Звезды.

Партизан-десантник Семен Гудзенко вернулся в строй уже как газетчик. В армейских редакциях, где работал Гудзенко, его очень любили, потому что он создавал вокруг себя атмосферу дружества, потому что он был неутомим в своих хождениях по переднему краю, был храбр, не боялся черновой работы и заражал людей любовью к стихам. И если в восстанавливаемом городе, по словам Гудзенко, песни были нужны — как жилье, а стихи — как колодцы с водой, то на фронте поэзия была и оружием и думой о счастье.

Стихи Гудзенко, написанные в победные годы войны, существенно отличаются от его стихов 1941 года. Стихи, написанные у наших западных рек, на Тисе, Дунае и Влтаве, цветистее, а порой и вычурнее тех стихов, что сочинялись в партизанской землянке. В новых военных стихах появилось, вернее, возродилось мальчишество, чуть ухарская романтика. А пожалуй, так и должно было быть в судьбе такого поэта, и та новая окраска, которую приобрели его стихи 1944–1945 годов,

свидетельствует лишь о неиссякаемом оптимизме, о том, что самые тяжелые испытания не согнули тех плеч, на которые они легли.

В некоторые стихи вернулась давнишняя гостья — литературщина, побродила вместе с поэтом по Карпатам, по берегам Балатона, подошла к предместьям Праги. Но солдатская правда и приобретенное в боях мужество опять оттолкнули ложную поэзию и повели поэта единственной, своей, верной и трудной дорогой.

У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя, —
только сила и юность. А когда возвратимся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.

Эти строки из замечательного во всех отношениях стихотворения «Мое поколение» Гудзенко любил читать, размахивая кулаками, строго насунив свои густые брови.

Нехорошо, когда поэт много пишет о поэзии. Это признак того, что ему нечего сказать о жизни. Но есть у Семена Гудзенко стихотворение, подытоживающее его путь по войне и путь в поэзию. Он не мог не написать его. В нем он совершенно точно и предельно кратко выразил себя. Мне хочется привести это стихотворение полностью.

Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.

Но если снова воевать...
Таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

В послевоенные годы я часто встречался и крепко дружил с Гудзенко. Это дало мне право после ранней его гибели (он прожил всего двадцать девять лет) вместе с родными его перелистать те записи, которые делал поэт в блокнотах, тетрадках, на клочках бумаги в годы войны. И каждый новый истершийся листок, с трудом поддающиеся расшифровке карандашные записи, сделанные рукой, сведенной морозом, подтверждали: перед нами драгоценные страницы истории молодого человека нашего времени. Вот одна из записей

января 1942 года. У вас, в Думиничском районе, видимо, происходило то, о чем лаконично, протокольно и потрясающе сердечно записал солдат и будущий поэт:

Интернационал

«Шесть немцев жили в одной избе. Трое уехали. Трое пришли. Велели хозяйке закрыть плотно окно и двери: „Давай патефон“. — „Ну, погибла“, — подумала старушка. Завели громко пластинку. Они сели вокруг стола, вынули листочки бумаги и запели „Интернационал“. Пропели весь. Один пожилой прослезился, встали и ушли. Она их больше не видела».

Эта запись — среди сдержанных, сквозь зубы процеженных проклятий, среди слов — чувствуется, — написанных карандашом, втиснутым в кулак, сжатый от ярости.

Но как ясно смотрели вперед, в даль времен, и назад, в даль времен, глаза солдата. Ярость не затуманила их, не застлала кровавой мутой чистой веры интернационалиста.

Удивительны записи Гудзенко о товарищах. Он всегда искал в людях хорошее. Я не хочу пересказывать записи Семена, разрывать на цитаты его стихи. Прочитайте их полностью, они вам пригодятся в жизни.

Всего семь лет отпустила судьба поэту Гудзенко для мирной послевоенной жизни.

У многих поэтов поколения, к которому принадлежит Семен Гудзенко, был после войны сложный период, когда они не могли оторваться от окопных представлений о действительности, осмыслить по-новому пройденный ими жестокий путь. Они словно продолжали окопную жизнь, в то время как их сверстники уже по горло были заняты восстановлением и мирным трудом. Эта болезнь краешком коснулась и Семена Гудзенко, но он сумел скоро понять, что в судьбе страны и ровесников произошел крутой поворот и надо с той же страстью идти в мирные атаки, штурмовать послевоенные трудности...

И если поэт откровенно рассказывал о том, что ему все еще снится армейское, родное, он отодвигал от себя эти сны рукой строителя, с рассвета склонялся над работой, шагал вперед, не зная усталости, чтобы не праздным гостем прийти «к столу грядущего».

Поэта редко можно было встретить в Москве. Его география расширялась с каждым месяцем: он был в Курской области на весенней посевной, на Украине на уборке, самолет нес его в Закарпатье, а затем в далекую Туву. И всюду происходило то же: немедленно по прибытии Гудзенко «обрастал» друзьями, читал им наизусть свои и чужие стихи, слушал и редактировал стихи начинающих, на попутной машине ехал в

самую глушь, для того чтобы показать, что глуши вообще не существует...

Все ему не хватало времени, чтобы оглядеть страну от края до края...

В закарпатских и тувинских стихах Гудзенко есть глубокая мысль и большая задача — не успевший увидеть Октябрь молодой человек послевоенной эпохи изучает великую русскую революцию в тех местах, куда она пришла позже, уже в его время. И он рассказывает гуцулам о Ленинграде и тувинцам о Москве, пытается слить воедино русскую и украинскую речь, переводит стихи тувинского поэта о первом полете на самолете.

Столь необходимое поэту чувство нового трепещет в каждом стихотворении Гудзенко, делает эти стихи «заразительными» и привлекает к образу их создателя.

Гудзенко не писал пустячков. Каждое стихотворение написано по какому-то важному, глубоко взволновавшему поэта поводу. Оно могло и не получиться, не удался, но не по той причине, что в нем не было замысла. В конце концов, поэтов без неудач не бывает. Безмятежен и ровен путь эпигонов.

Недавно в мемуарах одного большого писателя я прочитал печальные строки о послевоенном Гудзенко. Этот писатель любил Гудзенко, но, как мне кажется, не понял его в сложную послевоенную пору. Трудных дней немало было у Семена, но он был неисправимым оптимистом и в этом качестве не менялся. Таким людям несвойственно разочарование.

И вновь Гудзенко в дороге. Он отправляется в Среднюю Азию, в самый южный город нашей страны — Кушку. Поэма «Дальний гарнизон» и теперь, через много лет после ее написания, остается одним из лучших произведений об армии мирного времени.

Недавно побывал я в Кушке. Там поэму Семена знают солдаты, офицеры, жены офицеров. Ее читают на вечерах, цитируют в разговоре, в письмах домой.

Это очень высокая похвала поэме. Дело в том, что в противоречии с постоянными призывами, так сказать, с мест — «напишите о нас», — лишь в редчайших случаях объектам этих произведений нравится, как о них написали. Психологическое объяснение этого обидного несоответствия — особая тема, и я не хочу ее сейчас касаться, чтобы не уйти далеко от образа и стихов Семена Гудзенко. Во всяком случае, в стихах Гудзенко герои узнали себя, поэту поверили и в себя поверили больше.

Мне хочется еще рассказать вам, дорогие мои ребята из Думиничей, о последних стихах Семена. Это стихи — подвиг. Умирающий и узнавший, что спасения не будет, поэт написал три стихотворения, которые он сам называл последними. Для меня эти стихи в одном ряду с подвигом Николая Островского...

Вот и весь мой рассказ, ответ туристам-краеоведам Думиничской одиннадцатилетней школы. Рассказ этот заведомо не полон и не может быть полным, потому что это только воспоминание о поэте, а все главное о себе сказал он сам в стихах.

1941-1943 гг. Стихи. Из записных книжек

*...Продолжается битва
в дыму и пальбе.
Можешь мертвым в сражении лечь,
но не смеешь
ни строчки оставить себе,
ни удара сердца сберечь.*

С. Гудзенко

Память

Был мороз.
Не измеришь по Цельсию.
Плюнь — замерзнет.
Такой мороз.
Было поле с безмолвными рельсами,
позабывшими стук колес.
Были стрелки
совсем незрячие —
ни зеленых,
ни красных огней.
Были щи ледяные.
Горячие
были схватки
за пять этих дней.
Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.
Пусть кому-нибудь кажется мелочью,
но товарищ мой до сих пор
помнит только узоры беличьи

и в березе забытый топор.
Вот и мне:
не деревни сгоревшие,
не поход по чужим следам,
а запомнились онемевшие
рельсы.
Кажется, навсегда...

1942

Перед атакой

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
и почернел от пыли минной.
Разрыв —
и умирает друг.
И значит, смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Ракету просит
небосвод
и вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Но мы уже
не в силах ждать.
И нас ведет через траншеи
окоченевшая вражда,
штыком дырявящая шеи.
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом

из-под ногтей
я кровь чужую.

1942

Отдых

Из боя выходила рота.
Мы шли под крыши,
в тишину,
в сраженьях право заработав
на сутки позабыть войну.

Но у обломков самолета
остановился первый взвод.
И замерла в песках пехота
у красных
обожженных звезд.

...Осколки голубого сплава
валялись на сухом песке.
Здесь все:
и боевая слава,
и струйка крови на виске,
и кутерьма атак
и тыла,
ревущая,
как «ястребок».

Нам отдых сделался постылым
и неуютным городок.

1942

Сапер

Всю ночь по ледяному насту,
по черным полыньям реки
шли за сапером коренастым

обозы,
танки
и полки.
Их вел на запад
по просекам
простой, спокойный человек.
Прищурившись, смотрел на снег
и мины находил под снегом.
Он шел всю ночь.
Вставал из лога
рассвет в пороховом дыму.
Настанет мир —
на всех дорогах
поставят памятник ему.

1942

Трава

Я не хотел опять о травах,
но так всегда —
когда живу в Москве,
я на неделю получаю право
писать стихи
о ветре и траве.
Ведь я в апреле снова прозеваю
цветенье яблонь,
появление трав.

.....

Я опоздал к последнему трамваю,
бродить Москвой придется до утра.
Случайно
в палисаднике на Бронной
увидел пятнышко травы,
и мне
его руками захотелось тронуть,
как мальчику винтовку на стене.

1941

Первая смерть

Ты знаешь, есть в нашей солдатской судьбе
первая смерть
однокашника, друга...
Мы ждали разведчиков в жаркой избе,
молчали
и трубку курили по кругу.
Картошка дымилась в большом чугуне.
Я трубку набил
и подал соседу.

Ты знаешь,
есть заповедь на войне:
дождаться разведку
и вместе обедать.
— Ну, как там ребята?..
Придут ли назад?.. —
каждый из нас повторял эту фразу.
Вошел он.
Сержанту подал автомат.
— Сережа убит...
В голову...
Сразу... —

И если ты
на фронте дружил,
поймешь эту правду:
я ждал, что войдет он,
такой,
как в лесах Подмосковья жил,
всегда пулеметною лентой обмотан.
Я ждал его утром.
Шумела пурга.
Он должен прийти.
Я сварил концентраты.

Но где-то
в глубоких
смоленских снегах
замерзшее тело
армейского брата.

Ты знаешь,

есть в нашей солдатской судьбе
первая смерть...
Говорили по кругу —
и все об одном,
ничего о себе.
Только о мести,
о мести
за друга.

1942

Подрывник

К рассвету точки засекут,
а днем начнется наступление.
Но есть стратегия секунд,
и есть секундные сраженья.
И то,
что может сделать он
и тол
(пятнадцать килограммов),
не в силах целый батальон,
пусть даже смелых
и упрямых.
Он в риске понимает толк.
Уверенно,
с лихим упорством
вступает он в единоборство
с полком.
И разбивает полк.
И рассыпаются мосты.
И падают в густые травы,
обламывая кусты,
на фронт идущие составы.

И в рельсах, согнутых улиткой,
отражена его улыбка.

1942

Баллада о дружбе

Так
в блиндаже хранят уют
коптилки керосиновой.
Так
дыхание берегут,
когда ползут сквозь минный вой.
Так
раненые кровь хранят,
руками сжав культяпки ног.
...Был друг хороший у меня,
и дружбу молча я берег.
И дружбы не было нежней.
Пускай мой след
в снегах простыл —
среди запутанных лыжней
мою
всегда он находил.
Он возвращался по ночам...
Услышав скрип его сапог,
я знал —
от стужи он продрог
или
от пота он промок.
Мы нашу дружбу
берегли,
как пехотинцы берегут
метр
окровавленной земли,
когда его в боях берут.
Но стал
и в нашем дележе
сна
и консервов на двоих
вопрос:
кому из нас двоих
остаться на войне в живых?
И он опять напомнил мне,
что ждет его в Тюмени сын.
Ну, что скажу?
Ведь на войне
я в первый раз
побрil усы.

И, видно,
жизнь ему вдвойне
дороже и нужней,
чем мне.
Час
дал на сборы
капитан.
Не малый срок,
не милый срок...
Я совестью себя пытал:
решил,
что дружбу зря берег.
Мне дьявольски хотелось жить —
пусть даже врозь,
пусть не дружить.
Ну,
хорошо,
пусть мне идти,
пусть он останется в живых.
Поделит
с кем-нибудь пути,
и хлеб,
и дружбу
на двоих.
И я шагнул через порог...

Но было мне не суждено
погибнуть в переделке этой.
Твердя проклятие одно,
приполз я на КП
к рассвету.
В землянке
рассказали мне,
что по моей лыжне ушел он.
Так это он
 всю ночь
в огне
глушил их исступленно толом!
Так это он
из-за бугра
бил наповал из автомата!
Так это он
из всех наград
избрал одну —
любовь солдата!

Он не вернулся.
Мне в живых
считаться,
Но с кем я буду на двоих
делить судьбу
с армейским риском?
Не зря мы дружбу берегли,
как пехотинцы берегут
метр
окровавленной земли,
когда его в боях берут.

1942-1943

Лист

Сентиментальный,
нежный друг,
тебя вспугнул снарядов свист,
орудий рев, горящий луг...
Война нас вместе не сведет.
А для тебя я третий год
храню кленовый лист.
Ведь это все, что я унес
Из Киева тогда...
(О Дарницкий проклятый плес,
безумная вода!
Тебе не знать их никогда.)

...Стихи остались на столе,
они в сражение не пошли.
Я не припал к родной земле,
не взял в дорогу
горсть земли.
И только он,
кленовый лист,
хранил воспоминанья дрожь.
(Его сорвал осенний дождь.)
Я для тебя его берег.
Но жилки красные на нем
напомнили мне кровь дорог...

и стон и гомон переправ.
(О, до чего хотелось жить,
когда мы уходили вплавь,
когда мы падали в пути...)
Сентиментальный друг,
прости...

1942-1943

Письмо с Волги

Я бы мог от правила отступить
и тебе написать обо всем:
о солдате, засыпанном солью в степи,
о подвале, где мы живем.
Мне не хочется письма отсюда строчить
(лишь бы знал я,
что ты жива).
Здесь нужны, как гвозди и кирпичи,
все известные мне слова.
За два года столько ран запеклось
(маме этого не пиши).
Я теперь,
как бинты,
отдираю злость
со своей беззаботной души.
Продолжается битва
в дыму и пальбе.
Можешь мертвым в сражении лечь,
но не смеешь
ни строчки оставить себе,
ни удара сердца сберечь.
Потому что здесь песни нужны — как
жилье,
и стихи — как колодцы с водой.
Ты простишь мне,
конечно,
молчанье мое,
как прощала — с передовой.

Сталинград, 1943

Надпись на камне

У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколения,

Ни крестов, ни цветов,
не полощутся флаги.
Серебрится кусок
алюминьевой фляги,
и подсумок пустой,
и осколок гранаты —
неразлучны они
даже с мертвым солдатом.

Ты подумал о нем,
молодом и веселом.
В сорок первом
окончил он
среднюю школу.

У него на груди
под рубахой хранится
фотокарточка той,
что жила за Царицей^[1]...

...У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколения.

Он живым завещал
город выстроить снова
здесь, где он защищал
наше дело и слово.

Пусть гранит сохранит
прямоту человека,
а стекло — чистоту
сына
трудного века.

Сталинград, май — ноябрь 1943

«Я был пехотой в поле чистом...»

Я был пехотой в поле чистом,
в грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
в последний год на той войне.

Но если снова воевать...
Таков уже закон:
пускай меня пошлют опять
в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

Действующая армия, 1943—1944

1941-1942 гг.

* * *

Темная Тверская. Мы идем обедать с винтовками и пулеметами. Осень 1941 года. На Садовой баррикады. Мы поем песню о Москве. Авторы — я и Юрка. Авторы с гранатами входят в мастерскую «Окон ТАСС». Веселые художники просят махорки. Работают трафаретчицы. Пахнет красками, клеем, бумагой. К-й с розовой рожей пишет тексты. Гордится, что не уехал на Урал.

Покупаем печенье. Очередь небольшая.

— Много вас, — недовольна девушка.

— А это хорошо, что их много. Берите, милые. Защитники, — говорит чистенькая старушка.

Девушке стыдно. Улыбается.

У меня в противогазе «Английские баллады» Маршака. Купил по привычке. Читать уже не могу. Читаю только газеты, все, от доски до доски. Ждем, ждем. Ночью бомбы. В институте бывает пусто. Люмс собирается уезжать.

* * *

Москва, Москва, ты мне всего дороже.
Над милым краем вьется воронье.
И даже здесь, на снежном бездорожье,
Я чувствую дыхание твое...

* * *

Осень. Шоссе Энтузиастов. Идут старики и женщины с узлами на восток. Летит на восток трехтонка. В кузове стоит пианино.

Вечер, темно. На дверях института листок бумаги: *«Идите по шоссе Энтузиастов. Догоните. Деканат».*

Ноябрь

Мы в Калининской области. Шестаково — ночуем. Бомбят. Убит командир. Утром Ямуга, потом село Вельмогово. Бошко остался караулить. Опять Ямуга, потом Покров через Клин. Дома целые, ни одного стекла, ни одного человека. Воронки от бомб. Домик Чайковского цел.

Потом работа в селе Починки. Потом Мотовилово, переход 35 километров.

В Мотовилове — мальчик, сирота, пришел оттуда... Красивый, 12 лет, лубочный. Взяли на машину. О, сколько сирот. Мстить за таких! Мстить!

* * *

Это было крещение. Первые убитые, первые раненые, первые брошенные каски, кони без седоков, патроны в канавах у шоссе. Бойцы, вышедшие из окружения, пикирующие гады, автоматная стрельба.

Погиб Игношин. На шоссе у Ямуги. Убит конник. Осколки разбили рот,

Чтоб рану гнойную видали
Те, кто пытались жить в тиши,
Ты вспомни все: бои и дали,
И кровью книгу напиши.

* * *

Бошко с группой ребят: Олег, Сергей, Лазарь, Гречаник и другие — попали в окружение. К ним пристали политруки и лейтенанты. Бошко взял на себя команду. Ифлиец-солдат вывел ребят. Лазарь поймал коня и гарцевал на нем.

10 декабря

Пришло письмо от Нины. Пишет Юре, а мне только привет. И сейчас такая же, чтоб я не зазнавался, а сама плакала, когда я уходил. Гордая до смешного. Письмо носилось в кармане, адрес стерся, и тогда захотелось писать. Была ранена в руку. Опять на фронте. Красивая девушка. Молодчина.

* * *

Снег, снег, леса и бездорожье. Горит деревня.
Отряд... Карабины, автоматы. Штатские куртки на меху, маскхалаты...

* * *

Шоссе. Едем на автомашинах. Ночуем в Крапивне. Немцы повесили предколхоза и еще двоих: они закололи свинью партизанам.

* * *

Едем в Козельск.
Город Козельск. На вокзале уйма машин. Машины и по всей дороге. Козельск разрушен, не горел.
Едем дальше.
Деревня Рядики.

Остановили машины. Немцы летают. Нагло низко и обстреливают. Ночью пошли на лыжах. Вел Лазарь. Бродили по снегу, по оврагам. Ночью пришли в Меховое. Здесь штаб армии. Собираются уезжать. Лежали на снегу. Потом ночью в дымной хате ели вкусно. Когда проезжали Тулу, за машинами бежали ребята. Мы стали, было очень холодно.

— Дяденька! А ты руки в рукава. Теплее, чем в варежках, — советовали ребята.

* * *

Тула цела. Но за городом — снежная поляна, торчат две-три трубы. Туляк Женя Демин говорит, что был здесь поселок с красивыми домиками.

В Щекино к машине подошел старик, закурил. «Немцы все забрали».

В глазах молчаливое оцепенение, одет в лохмотья овчины.

* * *

Идем на лыжах дальше. Деревня Ракитная.

Поехали в город Рождествено доставать лошадь. Предколхоза дал сани, сам повез, погонял коня выкриками: «Алло! Алло!»

Ночуем в Попкове. Едем в Охотное. И здесь нас поворачивают на Гульцово.

В Гульцове жили в доме крепкого старика в огромной белой папаше. Он бил немцев в 1914–1918 годах. Сердечный человек.

* * *

Прибыли ночью. Почти бегом 15 километров. Спим тревожно, не раздеваясь. Рассвет. Выступаем. Ходим весь день на лыжах.

Были в деревне Котырь, рядом с Хлуднево. Устали как черти. Вечером вернулись. 1-й и 2-й взводы ушли в бой. Мы остались. Утром привезли раненого Королева. Убиты Худолеев, Мацура и др. На переезде встретил Соловьева, Лебедева, Демина. Они ночью зашли в село к немцам. Не знали. Колотили в дверь. Окрик: «Алло!» Еле смылись. Бой был под Кишеевкой. Лазарь бил из снайперской. Здорово! Метко. Ворвались в деревню. Потом отошли. Когда подползали, деревня кашляла. Гансам не по легким наши морозы. Простужаются гады. Немецкий шаблон обороны населенного пункта с каменными домами.

Подпускают вязнувших по пояс в снегу на 50–60 метров. Зажигают крайние дома. Видно как днем. И бьют из пулеметов, минометов и автоматов. Так они бьют везде.

* * *

Пошли опять 1-й и 2-й (взводы). Бой был сильный. Ворвались в село. Сапер Кругляков противотанковой гранатой уложил 12 немцев в одном доме. Крепко дрался сам Лазнюк в деревне. Лазарь говорит, что он крикнул: «Я умер честным человеком». Какой парень! Воля, воля! Егорцев ему кричал: «Не смей!» Утром вернулись 6 человек, это из 33. Через день пришел Борис Перлин и Корольков. Борис пересидел в сарае. Потом вышел. Лежат разутые наши. Один поднялся. Корольков.

* * *

Хлебников написал: «Когда умирают люди — плачут». Я бы плакал, но не умею. Мы не учились этому тяжелому, вернее, трудному ремеслу — плакать. Гречаник растерялся. Жметса к Васютину.

* * *

Ушли в разведку Сережа и Олег. Кондрашев вышел. По нему выстрел. Крепкие люди, настоящие парни. Смирнов ходит как прибитый, молчит. Они вместе спали, вместе ели. Три молодых.

* * *

Ходили в разведку в Кишеевку. Я с Шершуновым. Лезли глубоко в лес. Тишина. Шершунов великолепный парень. Тоже ифлиец, но без червоточинки богемы и интеллигенции.

* * *

Ездим с Кувшинниковым и Михальским под Хлуднево. Хотели подобрать своих. Предрассудки мирного времени. Все для живых. О мертвых нет возможности думать.

* * *

Пришел Жмыхов: надо идти в Масловку конвоировать пленных. Сам идет. А в Москве будет ходить героем. Пошли. Он и Гречаник. А там им под Куклино и говорят: «Пленные? Их еще надо взять». В бой! 4 часа пролежали на снегу под огнем. Чехладзе ранен. Потом пошли за лыжами и остались в Куклино. Он, конечно, заболел и пролежал ночь на печи. Боялся — опять пошлют. Утром я за ним приехал, и пошли они в Гульцово.

* * *

В снегу валяется ганс. Одеревенелый труп. Красивый горбоносый профиль — лицо мраморное, статуя. Сволочь, помер здесь, вдали от своей Германии.

* * *

Ночью пошли в Хлуднево. Я и Прокофьев — передовые. Пришли. Догорает дом. Жителей нет. Немцы, постреляв, ушли на поляну. Зашли в дом, Посреди корова. На окне коробка от сигар «Селям-алейкум». Гансы недавно ушли.

* * *

Час отдыха, и 5 человек, в том числе и я, посланы с донесением в соседнюю дивизию. Шли на лыжах.

* * *

Идем в поселок Баранково. Приготовили гранаты. Я и Егорцев подходим к избе: «Открывай! Кто есть?» Испуганная хозяйка. Немцы прошли. Заходим. Обогрелись, поели супец. Немцы здесь все отобрали. В скатертях прорезали дыры для голов, надели детские белые трусики. Маскируются. Найдем!

* * *

Едем через Сегунов поселок. Пурга. Жжет лицо, валит с лыж. У Поляны обстреляли. Отстали 2. Переспали в поселке. И уже вдвоем пошли дальше. На поле у Поляны встретили соседнюю дивизию. Они уже ставили минометы. Не знали, что здесь свои. Вовремя пришли.

* * *

Идем в Рядлово. Я выбиваюсь из сил. Лыжи доконали. Отдыхаю.

2-го утром в Поляне. Иду в школу. Лежат трупы Красобаева и Смирнова. Не узнать. Пули свистят, мины рвутся. Гады простреливают пять километров пути к школе. Пробежали... Пули рвутся в школе.

Бьет наш «максим». Стреляю по большаку. Немцы уходят из Маклаки. Пули свистят рядом.

2 января 1942 года

Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Пусть бы в руку, ногу, плечо. Ходить не могу. Бабарыка перевязал. Рана — аж видно нутро. Везут на санях. Потом доехали до Козельска. Там валялся в соломе и вшах. Живу в квартире нач. госпиталя. Врачи типичные. Культурные, в ремнях и смешные, когда говорят уставным языком.

* * *

Полечусь и снова в бой, мстить за погибших, за издевательства, за русский самовар из Снегова поселка, на который сел жирным... ганс и смял его. Ему весело. Св!..

* * *

Когда лежишь на больничной койке, с удовольствием читаешь веселую мудрость О'Генри, Зощенко, «Кондуит» и «Швамбранию», Швейка.

* * *

Фронтовики в карманах гимнастеров носят странные вещи. Немецкие губные гармошки, трубки, офицерские нашивки (одна) или кусочки свинца, вынутые из собственных ран ловкими руками хирурга. Это не талисманы. Это вещи, которые как искры воспаляют память. И начинаются долгие правдивые истории.

* * *

5-я палата обкуривает трубку сержанта Вл. Она обходит 9 коек и появляется снова в зубах сержанта. В великолепной коллекции И. Эренбурга это был бы прекрасный экземпляр.

* * *

Э. Багрицкий:
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед...

* * *

Миша Молочко и Жора Стружко! Други, погибшие еще в финской.

* * *

Мудрость приходит к человеку с плечами, натертыми винтовочным ремнем, с ногами, сбитыми в походах, с обмороженными руками, с обветренным лицом.
Когда идешь в снегу по пояс,
О битвах не готовишь повесть.

* * *

Когда ползешь по снегу, когда пурга обжигает лицо и слепит глаза, но знаешь, что, если встанешь, — погибнешь, замерзнешь, вспоминаются северные ребята Джека Лондона. И они ползли в пургу, в 50 градусов, голодали, но не сдавались.

* * *

Война. Люди, которые писали раз в год письма тещам, начали вести дневники, писать статьи в газеты, подробные письма. Война рождает писателей и книги.

* * *

Это была мать. Она бежала за человеком. Потом извинялась: «Стрижка, как у моего сына. Сзади вылитый Вова. Извините».

* * *

...Идет дорога через Клин.
Торчат обугленные трубы.
Среди заснеженных долин
Чернеют брошенные трупы.
Здесь немцев встретили в штыки,
Они здесь по снегу кружили.
Стоят на поле у реки,
Обледенев, автомобили.

«Интернационал»

Шесть немцев жили в одной избе. Трое уехали. Трое пришли. Велели хозяйке закрыть плотно окно и двери: «Давай патефон». — «Ну, погибла», — подумала старушка. Завели громко пластинку. Они сели вокруг стола, вынули листочки бумаги и запели «Интернационал». Пропели весь. Один пожилой прослезился. Встали и ушли. Она их больше не видела.

Сибиряки

Он был ранен днем. Мина оторвала ему ногу, искалечила руку и лицо. Огромное тело истекало кровью. Мимо него бежали люди. Вперед — в бой, назад — вели раненых, бежали за патронами. Он молчал. К нему не подходили. Бой закончен. К нему подошли. Положили на плащ-палатку. Понесли. Два часа проспал на морозе. Он не звал на помощь, он не хотел быть обузой. Но теперь: «Братцы, дайте закурить». Врач вздрогнул от сильного голоса этого изувеченного, обмороженного человека.

* * *

Лейтенант 20-летний. Цитирует везде и по всякому поводу новую статью Ал. Толстого «Кровь народа». Говорит (смакуя) готовыми фразами, вроде «Не забудем, не простим» и т. п. Но в общем славный парень. Всю дорогу и в госпитале искал газету со статьей А. Толстого...

* * *

На станции Рязань 2-я. Молодая москвичка. Мать уже. Спросила у меня: «Что значит — взято три населенных пункта? Города ли это?» И когда я ей сказал, что в населенном пункте бывает и по два дома, она иронически улыбнулась.

Да где ей знать? Ей, уехавшей в октябре за Урал. Разве она знает, как умирают люди за эти два дома? Нет!

Мы стояли на перекрестке дорог. Со всех сторон хлестали ветра. Москва была очень далеко.

Железнодорожные рельсы засыпаны снегом. Поезда не ходят с лета. Люди отвыкли уже от гула. Тишина здесь, кажется, усилена этими рельсами.

4 марта

Вчера вышел из дома. Пахнет весной. Не заметил ее начала. Завтра мне 20 лет. А что?

* * *

Н. Тихонов:
Когда уйду, совсем согнется мать,
Но говорить и думать так же будет,
Хотя и трудно старой понимать,
Что обо мне рассказывают люди.
Из рук уронит острую иглу,
И на щеках заволоknются пятна.
Ведь тот, что не придет уже обратно,
Играл у ног когда-то на полу.

* * *

...Женщины-почтальоны. Они разносят склеенные маркой извещения о гибели героев. Они первые видят безумные глаза жен, слезы матерей, закушенные губы и сжатые кулаки отцов и братьев.

* * *

...Людей с железной дисциплиной, доходящей до аскетизма, очень уважаю. Преклоняюсь, но не завидую.

До войны мне нравились люди из «Хулио Хуренито», «Кола Брюньона», «Дон-Кихота», «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Похождений Швейка» — это здоровые, веселые, честные люди.

Тогда мне нравились люди из книг, а за девять месяцев я увидел живых собратьев — этих классических, честных, здоровых весельчаков. Они, конечно, созвучны эпохе...

* * *

Война — это пробный камень всех свойств и качеств человека.

* * *

Война — это камень преткновения, о который спотыкаются слабые. Война — это камень, на котором можно править привычки и волю людей. Много переродившихся людей, ставших героями.

* * *

Четвертые полосы газет в кратких заметках дают железную уверенность в завтрашнем дне:

1) Исторические раскопки в Подмосковье.

Здесь были недавно бои, рыли противотанковые рвы. Найдена горсть древних монет.

2) Прием на курсы стенографии.

Это не безразличие, это спокойствие. Уверенность...

* * *

Была зима 1939/40 года. За коробками общежития висело красное обмороженное небо, в окнах горел синий свет — маскировка. Убиты в

карельских снегах М. Молочко и Ж. Стружко. Они писали стихи. Они погибли с оружием в руках.

13 апреля

Слушал 7-ю симфонию Шостаковича. Дирижировал Самосуд. Шостакович под овацию жал руки скрипачам, кланялся. Зал неистовствовал.

Пыль... пыль... пыль... пыль...

от шагающих сапог...

Отпуска нет на войне...

Марш нарастает до кульминации. Будто два танка поднялись на дыбы, сцепились передками. Лязг: «Кто — кого?», «Кто — кого!» И после этого реквием. Плач о погибших героях, горе, когда уже нету слез, — так пишет сам автор. Реквием кончен. Снова мотив, войны. Не забывают — война идет. Горе не должно сломить вашей силы и воли. Это (вся 1-я часть) самый сильный кусок симфонии. Потом идет мечтательная часть. Воспоминание хорошего. Я почему-то вспомнил Киев. Летнее утро. После разлуки из Ленинграда приехала любимая девушка. Мы идем по Николаевскому парку. Скамейки пустые. Еще никого нет. По-летнему прохладно. И все. Я не пишу статьи и поэтому не говорю о всех частях. Я пишу о том, что я увидел ясно-ясно. Четко, как на экране; весомо, как в театре.

* * *

Капитан Гастелло любил рассказ Дж. Лондона «Воля к жизни». Ленин любил этот рассказ. Джек Лондон — писатель сильных...

* * *

Хорошее чувство, когда есть о чем писать, когда поиски героя увенчались успехом. Героя знаешь лучше, чем себя, видишь его ясно-ясно. Все, чего в «штатском» не видел, теперь зажглось для меня: *вся армейская жизнь*. Говорили с Юркой о будущей книге. В ней будет много стихов: новых и довоенных. Проза поэтов.

Испанцы

Нары. На табурете аккуратная стопка книг. Сверху «Цыганские романсеро» Федерико Лорки на испанском языке. Здесь под Москвой живут испанские солдаты. Они мстят под Волоколамском за своего Лорку, за Мадрид. Смелые, веселые люди. Черные глаза, черные вьющиеся волосы, до блеска начищенные сапоги...

Далеко Мадрид. Они молча вспоминают расстрелянных жен, голодных детей в лачугах Бильбао. Рвутся в бой, мстят за своих детей, мстят за своего Лорку. Весенняя русская ночь. Из окон несется звук гитар и пение непонятной, но родной песни.

Киев

Я вижу: каштаны улицы. Короленко, тополя на бульваре, акации пробиваются над решетками Ботанического сада. На гранит Богдана влез пьяный офицер. Щелкает затвор «лейки». Улыбается полковник. Щелкает затвор. Гремит выстрел. Офицер падает. Тонкая струйка крови на граните. Тишина.

«Украина, моя Украина!»

* * *

Николаевский парк. Обломки зеленых скамеек. С Днепра теплый весенний ветер. На фонарях перед исполкомом тела повешенных. Тишина. Город зелени, город веселых, энергичных людей замер, притаился. Скоро, очень скоро он зашумит, как в марте Днепр. Мы вернемся.

* * *

Провинциал в ковбойке и широких парусиновых брюках. Рукава закатаны выше локтя. Обнажены крепкие загорелые руки. Он приехал в Москву из теплого зеленого Киева. Он мечтает быть поэтом беспокойным и бушующим. Таким я был в августе 1939 года в Москве, у Киевского вокзала.

25 апреля

Проза Дж. Лондона и стихи Н. Тихонова стали евангелием ифлийцев-бойцов.

Мы лежим на снегу. «Ваше слово, товарищ маузер», — сказал, улыбаясь одними глазами, парень. Грянул выстрел. Маяковский воет.

1 мая

Сегодня май. Фронтовой. Великий, чеканный приказ о разгроме гадов в 1942 году. Выполним.

* * *

Девушка учила Овидия и латинские глаголы. Потом села за руль трехтонки. Везла все. Молодчина.

13 мая

Женщина боялась своего почерка. Он напоминал ей почерк погибшего сына. Письма она отстукивала на машинке.

* * *

Влажные глаза — скорбь всего иудейского народа. Но этот парень ходил трижды в штыки. Он заколол двенадцать немцев.

* * *

О смерти, о большой любви нельзя писать стихи: точная строфика, рифмовка выдержанная, ритм — один. Задыхаясь, не говорят ямбом, а если не задыхаешься в любви и горе, стихов не пиши.

* * *

В Киеве целые сутки партизаны удерживали площадь Богдана Хмельницкого.

* * *

Вышел из метро. После этого провал. После этого я был сбит авто на площади Дзержинского и снесли меня в приемный покой метро. Пришел в себя. Болит скула. Забыл все: откуда, зачем, какой месяц, война ли, где брат живет. Испугался этого. Болит голова, тошнит. Решил вспомнить свои стихи. Кое-как вспомнил. Успокоился.

20 мая

Киев. Май. Каштаны отцвели. Днепр в телах. Склоны в траве. Дома не удержишь. Что там? Звери затоптали лицо этого города. Киев, Киев.

21 мая

Тишина в мире. Листья еле-еле колышутся...

22 мая

...Моя великая Россия
Лежала долго на дыбе;
И были в хрусте сухожилий
Народа сила и тоска.
Эй, ты! Не для тебя мы жили,
Дыбы дубовая доска,
Удар и хруст.
Удар — и в щепки.
Да будет,
будет этот год
Победным.
Не падет народ,
Рожденный в этом мире
крепким.
Шел строй.
Немел.
Все тише, тише.
Лежали посреди села
У школы с обгорелой крышей
Полусожженные тела.
И трудно было в этих трупах
Узнать друзей-однополчан...

3 июня

Мне рассказали о саперах
И минах, розовых полях,
О том, что был свинец и порох
У моего плеча в гостях.

Очнулся я. В крови подушка,
И голова лежит в крови.

...Сейчас я вспомнил тишину.
Разрывы мин и гул моторов.
Шли мальчиками на войну.
И возмужали очень скоро.

1944-1945 гг. Стихи. Из записных книжек

*Ландыши красными станут!
И к правнукам былью
сказка придет о салютах,
цветах и войне...*

С. Гудзенко

Послесловие 1945 года

Случайные попутчики!
Опять
мы встретились на фронтовой дороге.
Нам снова, вспоминая отчий дом,
упрашивать водителей упрямых
и на попутных по свету кружить,
венгерскую равнину проклиная, —
там только ветер, мерзлые снопы,
неубранные тыквы, как снаряды,
и памятники гордым королям
с короткими чугунными мечами
на сытых и ленивых битюгах.

Но вот привал.
Мы спим на сеновалах
и во дворцах на бархатных подушках.
И снова в путь.
Гони, шофер, гони!

Который день мы не путем Колумба,
но открывая новые державы,
идем вперед до новых рубежей.
И снова повторяются атаки,
бомбежки, оборона, медсанбаты
и поиски разведчиков в ночи.
Огромный город мы берем подомно
и даже поквартирно.
На перилах
висит чужой и мертвый пулеметчик,
а пулемет дымится на полу.
Все повторимо.
На шоссе под Веной
в крови багровой коченеют кони,
огромные, как рыжие холмы.
В парламенте — шинели и знамена
немецкого ударного отряда.
И пленные еще в горячке боя
ругаются, потеют и дрожат.
Мы не туристами идем по Вене —
не до музеев нам,
не до экскурсий.
И мы не музыкантская команда.
Мы просто пехотинцы.
Но Бетховен
от нашей роты получил венки.
Случайные попутчики!
Опять
мы встретились на фронтовой дороге.
Нам снова, вспоминая отчий дом,
упрашивать водителей упрямых
и на попутных по свету кружить,
из дальнего похода возвращаясь.
Случайные попутчики!
Солдаты
передних линий, первых эшелонов!
Закончилась вторая мировая.
Нас дома ждут!
Гони, шофер, гони!

2-й Украинский фронт,
1945

Мое поколение

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали... Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя, —
только сила и юность. А когда возвратимся с войны,
все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
что отцами-солдатами будут гордиться сыны.

Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется,
у погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
тот поймет эту правду — она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —

это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
...Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся — а мы возвратимся с победой,
все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, —
пусть нам пива наварят и мяса нажарят к обеду,
чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —
все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

1945

«После марша и ночной атаки...»

После марша и ночной атаки
нашу роту посетила грусть:
нам под Банской Штявницей словаки
Пушкина читали наизусть.

Можно встретить в Вене земляка,
без вести пропавшего в июне.
Вот была же встреча накануне
с братом у счастливого стрелка.

Но когда мы с Пушкиным вдали
свиделись нежданно-нежданно,
о чужбине песню завели,
и Россия встала из тумана.

Словакия, апрель 1945

«На снегу белизны госпитальной ...»

На снегу белизны госпитальной
умирал военврач, умирал военврач.
Ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем,
о своем ненаглядном, о милом не плачь.

Наклонились над ним два сапера с бинтами,
и шершавые руки коснулись плеча.
Только птицы кричат в тишине за холмами.
Только двое живых над убитым молчат.

Это он их лечил в полевом медсанбате,

по ночам приходил, говорил о тебе,
о военной судьбе, о соседней палате
и опять о веселой военной судьбе.

Ты не плачь о нем, девушка, в городе дальнем,
о своем ненаглядном, о милом не плачь.
...Одного человека не спас военврач —
он лежит на снегу белизны госпитальной.

Венгрия, 1945

«В Праге хоронят погибшего после победы майора...»

В Праге хоронят погибшего после победы майора.
Влтава тиха, но гремит орудийный салют.
Женщины плачут. Мужчины молчат у собора
И, обжигая ладони, гильзы на память берут.

Гильзы хозяйки начистят кирпичною пылью.
Первые ландыши, ландыши будут стоять на окне.
Ландыши красными станут! И к правнукам былью
Сказка придет о салютах, цветах и войне.

1945

Вторая атака

Будь то конный,
будь то пеший —
валит всех
орудийный шквал.
Возле города
Будапешта
я в атаке
опять побывал.
В декабре,
в сорок четвертом
на венгерский

растаявший снег
окровавленным
или мертвым
не желает
упасть человек.
Не желаю!
Не желаю!
Пулям кланяюсь,
но бегу.
Разрывается
мина злая
черным веером
на снегу.
Разлетаются
серые комья.
Но пехоте уже не до них...
Я теперь
ничего не помню
после лютых атак
штыковых.
И сегодня
после отбоя
я в чужом блиндаже
захрапел.
Я был очень
доволен собою
и во сне
даже плакал и пел.
Мне приснилось:
гремят оркестры,
я в Москву
возвратился весной —
пьют друзья,
и моя невеста
неразлучна опять
со мной.
Не будите меня!
Не надо!
Пусть продлится,
хотя бы во сне,
встреча с той,
за кого прикладом
и штыком
молюсь на войне.

1944

1944-1945 гг.

28 декабря

Ночевали в Орадес-Матье. Это последний город, где смешаны мадьяры и румыны. По сравнению с Клужем — здесь полное разорение. Город большой. На базаре только гуси, магазины почти все закрыты, торгуют остатками.

Ненависть появляется у бойца в Европе с воспоминаниями и сменяется миром, тишиной. Мы понимаем чужое горе — даже врага (это не всегда хорошо).

* * *

Купсентмартов, 29 и 30 декабря, ночь. Вечером разговор о литературе. Сытость нашей дороги пугает меня. Слышна стрельба ружейная. 130 километров до Будапешта.

* * *

Стихи о том, что возвращается пшеница в закрома, а люди убитые не возвращаются.

* * *

Ракоци — район фашистский. Старый мадьяр с шестого этажа сбросил гранату, убил 10 офицеров.

Капитан Рогованов — храбрый, был ранен в ногу, когда попал в окружение, немцы хотели его убить, но венгерский офицер вступился, отправил его к местному врачу, тот вылечил его и спрятал. Он жив.

* * *

Хорошие солдаты, прибывающие из госпиталей. Они брали Крым, Киев, Яссы. Молдаване Руссу, Донцул, Бодян, Комиссарчук первыми идут в атаку. Они уже награждены медалями комполка.

* * *

Немцы сдаются в плен и говорят, что они французы.

* * *

Жители подносили снаряды, пушки тащили.

Венгры отправили делегацию из трех человек к немцам, чтобы те капитулировали, немцы двух расстреляли, один неизвестно где.

На площади Свободы повесили 5 венгров и подпись: «Будет со всеми, кто помогает большевикам».

Будапешт, 15 января

В городе уже был дважды. Пока это только гигантские пригороды: заводы, заводы и склады. Наверно, в 1941 году такое же было у нас. Голодные мадьяры тянут мешками фисташки, тонут в патоке. Солдаты, наши славяне умываются одеколоном и поят коней пивом — потому что нет воды. Люди всего боятся — сидят в бункерах, с опаской ходят по улицам.

Идем по улице с Н-м. Его папаха привлекает снайпера. Пули свистят рядом. Бежим.

Заходим в дома. Все разбито и разграблено. Чудесная мебель, безделушки, воротнички и галстуки, стоптанные туфли, и старые деньги, и посуда.

Заходим в конторы. Машинки, бумаги, конверты, рекламы, проспекты.

Заходим в цехи. Недостроенные самолеты, недоделанные шелка и кожи, недоработанные листы стали.

На улице трупы людей и коней. Еще не все убрано. Трупов много. За 5 месяцев отвык от этого и возле первого убитого мадьяра останавливаюсь: руки в перчатках закинута за голову, на носке дырочка, еще идет пар от пробитого черепа.

У стены лежит наш солдат. Он убит. Из карманов высыпалось печенье.

Пленные — их тысячи. Они в домах. Их сортируют и допрашивают. Они почти все переоделись в штатское, и поэтому с ними неприятно говорить.

— Мы не солдаты...

А по выправке, по лицу, по рукам — солдаты.

Горит город. Конечно, не весь. Но где-то пожары, и над тихими вечерними улицами плывет черный дым.

Город разбивают в упор из орудий, но в общем мало заметны большие разрушения. Мы обороняли свои города во сто крат лучше, потому и не осталось камня на камне. Слава нам! Это не ходульный лозунг. Это истина, и сердечная притом.

Вернутся в наши дома

Из Бухареста рояли.

Пшеница, что немцы украли,

Вернется в свои закрома.

Вот он, оператор, в центре Будапешта, вспоминает картины, которые снимал, — «Последний табор» и др. Говорим с ним о доме, где мы сидим, разбитые окна, и двери выбиты...

Авиация не бомбит — гуманизм и боязнь ударить по своим.

Бои идут сейчас подземные, а не уличные — идет пехота под домами.

Угол улицы Ваш и улицы Ракоци — расстреляна группа мадьяр немцами.

Встречаем здесь подпольщиков, которых мы сбросили на парашюте в Будапеште.

Площадь *Тиса*. Кальман. Национальная опера. Неделю тому здесь был созван съезд фашистов. Присутствовал Салаши. Комсомольцы бросили 4 бомбы. Фашисты разбежались.

Площадь Муссолини. Там стояла немецкая батарея. В сумерки комсомольцы подошли и, с боем заняв ее, взорвали орудия.

* * *

Немцы сбрасывают на парашютах бензобаки. Летят на розовых парашютах. Огонь. Загораются.

* * *

Митинги по убийству парламентаров. Выступали рядовой Шмелев, ст. серж. Иванов. Листовки. В бою Иванов заменил комзвода, и взвод в уличных боях уничтожил 40 гитлеровцев. Лично — 4 в рукопашном. Шмелев гранатами забросал пулемет в окне, расчет убил.

Занят с востока ряд пригородов. Немцы там имели оборону. В пригородах проходят 2-я и 3-я линии обороны. Они идут по дорогам, по окраинам поселков.

30(29) января

Уже 4-й день идут ожесточенные бои. Бойцы подразделения Хрипка и Лебедь захватили шедший к городу трамвай с прицепом.

Южный промышленный район. Баррикады, завалы, минные поля, проволока, траншеи. Дома-крепости, в стенах амбразуры, ходы сообщений.

16 февраля

Через Дунай на лодке переправились в Буду. Еще горят, взрываясь, дома в Пеште и Буде. Дунай мутный и стремительный, льда нет, глыбы громоздятся только на правом берегу. Крутые склоны каменистых гор. Древняя цитадель — поднимались туда, тяжело дыша, проваливались в снег, мимо красных полотнищ парашютов и разбитых самолетов. Вдруг крик: «Немцы!» Вынули пистолеты, поднялись на крепостную стену — из подвалов выводили пленных фрицев, худых, грязных. Спустились в подвалы — жидкая грязь, брошенное оружие.

Дворец Хорти. Во дворе маршалы и генералы. Козыряем. Встретил Колю Прозоровского. Он повел в подвал. Это ад Данте. 3000 раненых и уже мертвых немцев лежат в темном, сыром коридоре, стоны. Бледный свет от фонарика. Трудно идти, то и дело наступаю на чьи-то мертвые руки и ноги. Во дворе мертвецы и ампутированные ноги и руки. Лежит в воронке молодой фриц, лицо как из воска, красив.

Подземелье. Отопление, освещение, радио. Комфорт. Солдат показывает кабинет Салаши.

Ночуем в Буде. Паром не пришел за нами. Захожу в квартиру, беру книгу Петефи. Все удивлены. Утром несу ее под мышкой. Мадыры оглядываются. Удивлены.

Ночью заходили в квартиру. Старик что-то объясняет: пролетарий, коммунист. И потом поет «Интернационал» по-мадыарски.

Паромщики и понтонеры на всех реках одинаковы: старики, усачи, рассудительные, острословы, задорные.

Взят Будапешт. И неизменно,

вбивая в оборону клин,

идут дивизии на Вену

и наступают на Берлин.

Сейчас от Познани до Праги

у всех фронтов одни пути...

19 февраля 1945 г.

Ностальгия. Привыкаешь ко всему: в Будапеште уже не волнует, что первые дни не давало уснуть, о чем только в книгах читал в России. Вся экзотика узких переулков, неожиданных встреч с итальянскими или шведскими подданными, монастыри, кино и церкви надоели солдатам, которые как-то этим интересовались. Нам хочется домой. Пусть даже там нет такого комфорта. И на это уже плюют. Хотя раньше с завистью смотрели на белизну ванных комнат, на блеск полов, на массивность или легкость мебели. Хочется всем домой, пусть в нетопленную комнату, пусть без всяких ванных комнат, но в Москву, Киев, Ленинград. Это тоска по родине.

Я живу на углу Ракоци. На самом людном месте, на третьем этаже. Еще холодно. Мой хозяин, чахоточный мадьяр, топит печь комплектами старых газет.

* * *

Домик в Кишпеште, на Бержани, 20. Старушки, одна 70-летняя, считалась у них знатоком русского языка. Говорит она на ломаном сербском. Так что, для того чтобы понять ее, нужен переводчик.

* * *

Вечером хожу к Дунаю, к мостам Ержебет и Франца-Иосифа. Город безмолвен. Люди тащат охапки дров, мешочки с крупой и картофелем. Днем на всех улицах оживление. Город убирают с любовью и даже с энтузиазмом. Быстро исчезают с главных улиц грязный, почерневший снег, обломки кирпича, осколки стекол.

* * *

В кино идет «Она сражалась за Родину» под названием «Товарищ Л.». Это у них как кинобоевик, в зале все время аплодисменты, плач и оживление.

В Кишпеште смотрел американский ковбойский фильм. Стрельба. Убийство. Страшная скука. А зал в бешеном восторге. Я не досидел. Видно, мы воспитаны на более умном и мудром искусстве.

21 февраля

Немцы наступают у Естергама. Чудовищно. Мы у Берлина, а они здесь бесятся. Что это — тупость, конвульсия или стратегия?

Где-то на маленьком участке в 10–15 километров повторяется сейчас 41-й год. Это, конечно, сейчас не характерно, но и об этом я должен писать — это правда войны. Наша сила в том, что мы не скрываем неудач от себя. Да, я должен писать о неудачах в 45-м году...

25 февраля

Сегодня в Будапеште день совсем майский. Никто из нас не знал, что готовится демонстрация. И вдруг — оркестр, колонны с красными флагами и портретами вождей. Девушки, опоясанные трехцветными лентами — зеленая, белая, красная. Крики: «Да здравствует мир!», «Смерть Салаши!», и все это троекратно, как-то не по-русски. С колонной иду через весь город. Двигаются тысячи рабочих и интеллигенции, организованные компартией. Все идут в спортплац, где должен состояться митинг. На тротуарах толпы. Полиция в касках. Красивые женщины в мехах. И все с флажками — нашими и венгерскими. Проходят две — на рукавах повязка «Актер театра».

Наконец спортплац. Вокруг тысяч 15, внутри — 4 т. Радио слушают все. Опять крики: «Да здравствует!..» и т. д.

Две встречи

В спортплаце у самой трибуны увидел того молодого человека, которого освободил из колонны штатских пленных. Тогда он кричал: «Я коммунист». Это оказалось правдой.

* * *

В Будапеште совсем весна. После дождя, вечерами, воздух мягкий и даже липкий. Наглеют и забывают войну. Базар разрастается из маленького толчка в огромное бедствие. Торгуют всем: от аккордеонов до колбасы...

* * *

Я остаюсь на войне до победного конца. Работа интересная, и направление интересное. Так что я буду здесь.

10 марта

Пошел в кино «Корвин», в фойе возле нас трется мадьяр — молодой, здоровый, в шляпе, с дешевым перстнем. Говорит на ломаном русском. Как-то шутя спросил: «Есть ли в Будапеште ресторан?» Он ответил: «Нет. А в Москве есть». — «Откуда знаешь?» — «Я из Москвы только четвертый день!» Я совсем остолбенел. Дальше рассказал он, что был взят под Старым Осколом в 1943 году. Сидел в лагере в 40 километрах от Москвы. Был в Горьком и Шапове. Жалуется, что в Венгрии плохо, что он в лагере получал 750 граммов хлеба, а здесь четвертый день ничего нет. Говорит, что его ждали без пальцев и без глаз, а он приехал крепким и веселым. Приехал он в армию. Будет драться с немцами.

Вот уже и история. Уже встречаем вернувшихся домой пленных. И в Россию приходят. Теперь рад, когда видишь усатого мадьяра, в 1914–1916 годах жившего в Омске, а вот уже и мадьяры 1941–1945 годов из-под Москвы и из-под Горького.

Стихи о вернувшемся из России мадьяре нужно написать...

* * *

«Посмотрите на эти горы. До войны на них был лес. Теперь они голые — все дерево ушло в Германию. Немцы обещали нам после войны колонию в Африке».

27 марта

Будапешт ожил на моих глазах. Сейчас все идет полным ходом. Торгуют всем и все. Старуха стоит у витрины разбитого магазина. Рядом с ней на витрине стоит пара стоптанных штиблет и флакон бог знает каких «Коти». Это торговец. В магазинах есть уже и не мелочи — отрезы, плащи. В кафе все, кроме вина. Народу всюду тьма. В театрах полно, билеты рвут из рук. Слушал «Фауста»...

Был юбилей Белы Иллеша. Он его праздновал здесь, в Будапеште. Я был на вечере.

29 марта

В асфальте улицы Ержебет торчит оперенье мины. Мина здесь разорвалась, покрыв тротуар осколками. Хвост остался в земле, пробив асфальт.

Уже появились магазины, по которым я особенно тосковал, — навал луку, картофеля, репы. И в другом — розовые окорока, бруски масла, колбасы. Изобилие, пусть даже показное, меня радует. Город становится на ноги...

* * *

Между городами ходят дилижансы — телеги, нагруженные тетками и стариками — с базара, на базар, в гости. Среди этих штатских попадаются наши солдаты. Они спят, бешено вспоминая деревню, сенокос, ночное. Надоели им попутные машины. Телега — рай.

* * *

Между городами непрерывно идут тачечники. Многие полуголые, красные от загара, босиком. А на быстро летающих машинах солдаты еще в ушанках.

* * *

Шел человек по улице Будапешта, где он живет уже три месяца, и вдруг могила, на доске прочел надпись: имя друга. Его он видел в дни штурма города. Он погиб. Жил три месяца в городе с мертвым другом, писал ему письма, ждал ответа...

* * *

Мой хозяин бывший кельнер. Жрать у него нечего. Но даже два ломтика хлеба он несет своей сожительнице на подносе и трех тарелках.

Он стар. У него медали за прошлую войну. Мне он говорит, что бил в 1914 году итальянцев, а немцам, наверно, хвастал, что бил русских.

* * *

Сегодня был в цирке. Интересна улица Андраши. Особняки тузов и графов, дома свиданий и фехтовальные клубы. Тут от городского парка шли упорные бои. Поэтому все особняки почти рассыпались, пробиты, в них не живут. Много зелени, бульвар, озера и над ними древние замки.

Очень живописные места. Трава уже зеленая, и влюбленные мнут ее. Возле цирка пять могил. Могила и у каждой аллеи парка.

Интересен один номер. Четверо клоунов держатся за хвост крохотного пони. Выходят. Их спрашивают, почему лошадь такая маленькая. «Это половина. А другую половину мы съели...» Вспомнил сразу январь, от туши убитого коня поднимается шляпа, очки, окровавленный нож. «Парле ву франсэ?» Профессор режет конину. Он говорит на пяти языках.

* * *

Кино «7 морских чертей». История. Испания. Война с Англией. Скука, потому что вместо искусства дан боевик — фехтование, абордаж, кулачный бой. Чудесный фильм «Золя». Чем-то он напоминает мне «Большой вальс», жизнь писателя дана правдиво. Хорошо, что есть фон исторический — дело Дрейфуса. Сделано превосходно.

* * *

Тяжелые мадьярские памятники. Арки в честь павших в 1914-1915 годах. Рыцари, колесницы, всадники. Все изрешечено пулями. Чугунная голова лежит у ног коня. Это в районе улицы Андраши — бои здесь шли тяжелые.

* * *

Как карты, рассыпается черепица на крышах. Кто-то тасовал их.

Ночь у Дуная

В Буде немцы. Артбатарея. Из окон видны солдаты на том берегу. Лед. Полыньи. Красные парашюты. Немцы сбрасывают своим жратву и гранаты. Внизу открытые настешь магазины. Бери что хочешь. Подхожу к артиллеристу. Смотрю, что он взял: один кусок мыла, флакон одеколона, сигареты. Взял, что нужно, а большего не берет.

* * *

Командир полка Леня Баскин, майор, мой ровесник, кончал Московскую консерваторию по классу композиторскому.

Снова рассказывал свою военную биографию — год солдат, восемь месяцев в газете, полгода в выездной редакции, снова 4 месяца в Москве в газете, три месяца командировка по Украине, Бессарабии, пешком с 1-го Укр. из Западн. Украины на 2-й Укр. — Бессарабия. Снова Москва, газета 4 месяца. Снова фронт — Трансильвания, Венгрия, Словакия — 3 месяца, да месяц пути. Что впереди? Трудно? Но я должен довоевать, чтобы написать полностью книгу «Мы в Европе».

Будапешт, 6 апреля

Последние дни в городе. Был снова на окраине проспекта Андраши, в парке у статуи Вашингтона. Был в парламенте. Чудесные орнаменты, роспись стен, безвкусные исторические картины. Заходил в верхнюю и нижнюю палаты. Поднимался на трибуны, с которых говорил речи Хорти. Все это очень и очень любопытно.

* * *

Будапешт позади. Дорога идет по венгерским городам. Разоренный Дьер и целые стекла в Мадьяраваре. Утром пересекли австрийскую границу. Весь фронт передвинулся. Встречаю под Веной, как и под Будапештом, знакомых регулировщиц и командиров полков. Окраины Вены — Карлэберсдорф опять пиво, как и в Кабаны. Город начинается с пива. Пьют все — солдаты, освобожденные. По шоссе идут сотни — русских, поляков, французов, итальянцев. На двоих идущих французов всегда один чех или поляк, так как они кое-как могут объясняться с нами... Вот изможденные девочки с авиазавода в Швехате. Вот юнец в чудесном костюме и с самопишущей ручкой. Он был жуликом в Вене. Французы с браслетами на руке — имя, номер. Русские с надписью — ОСТ...

* * *

Переправа всегда торжественна и молчалива, как похороны.

* * *

Встречаю друга на мотоцикле, пересаживаюсь и снова в Вену. На домах белые и красные флаги. Бюргеры сжимают у виска кулаки: «Рот Фронт». Дома вплотную, глухие ворота, мрачные деревни. Изобилие скота.

Утром 8 апреля в Братиславе

Братислава. Чудно. Залит солнцем город. Напоминает курорты Крыма. Горы и горы.

* * *

Дунай чудесен — набережная, гуляют. Памятник у театра Гвездославу — поэту-классику. Брожу по городу. Шовинизм. Немцы поработали.

Раненый штатский чех не хочет идти в австрийскую больницу.

* * *

Рингштрассе — парламент, опера, городской театр. У памятника графу Шварценбергу... Баррикады. Отсюда до центра 10 минут ходьбы. Здесь же оружие на прямой наводке.

Вена

В третий раз я по Венскому шоссе въезжаю в город. Сейчас бой уже идет за Дунайским каналом. Основная часть города уже освобождена. Дымится парламент. Вхожу. В комнатах жили немецкие солдаты. В кабинетах разбросаны шапки, мундиры, бумаги, и все со свастикой. Еду по городу. В 16-м районе был лагерь русских военнопленных. Сейчас в одном из домов они укрываются от бомбежки. Наталья Николаевна, сорокалетняя женщина из Киева. Она жила на улице Артема. Все это очень любопытно. Вот семья из Севастополя. Бабка, мать, дочь. Мужчины все на фронте. Они одеты, как и раньше, по-рабочему бедно, — все русские. А вот девчонка во всем иностранном. Польки — разбитные. Австрийцы их теперь побаиваются и счастливы, когда о них говорят, что они мягче немцев, что они давали приют русским. Район особняков. Дом, гараж и сад. Почти в каждой вилле один славянин-работник, чтобы объясниться с нами.

Кто-то подходит. Меня называют «комиссар». Показывает документ — он когда-то сидел в гестапо. Боже мой, как это противно, как немцы предупредительны, как они лебезят.

* * *

Очередь за хлебом. В рабочем районе люди ходят храбрей. Многие уверяют, что они бывшие шюцбундовцы.

* * *

Вена приятна зеленым. Напоминает Киев. Захожу в дом. Дворник ведет в квартиру сбежавшего обершарфюрера СС. Все как было. У дверей два собранных чемодана. В шкафу мундиры с орденами и пальто. На столе письма и бумаги, кортик и шашка. Очень много квартир пусто — фашисты бежали без оглядки.

Русского человека я узнаю сразу — козырек кепки заломлен, галстука нет или завязан небрежно, воротничок выложен — это пареньки. Их везли сюда 14—15-летними, а сейчас они солдаты.

* * *

В Вене висят красные флаги — они сделаны из немецких, но написано готическим шрифтом. Маляр — аполитичен, не учел.

* * *

Освобожденные чувствуют себя хозяевами Вены, но неизвестность дальнейшего их мучает.

— Немцы говорили, что Россия от нас отказалась.

Это пугает их. Солдаты относятся к ним душевно, но подлецов узнают шестым чувством...

— Показывай руки. Да ты и не работал, — разговор шофера с одним разбитным пареньком из Краснодона. Дело было в Швехате.

* * *

Ожила наконец *Братислава*. Наверно, потому, что с 1941 года по апрель 1945 года здесь не чувствовали войны, город так медленно приходит в себя, хотя на его долю не досталось почти никаких испытаний.

* * *

Дунай стремительный и серый. Он сейчас, весной, какого-то стального цвета, как немецкие кожаные пальто.

* * *

В городе много белоэмигрантов, есть эмигранты и сороковых годов.
— Я была простой сестрой в одесском санатории, здесь меня принимали в лучших домах, — говорила одна девчонка, уехавшая из Одессы в Братиславу со словацким офицером.
Дура, она не понимает, что здесь лучшими домами считаются виллы богачей, что она здесь не стала культурней и умней, что за внешним уютом и шиком много гнили и дряни.

* * *

Старухе 94 года. Она дряхла. Но с кухни уходить не хочет.
— Я приготовлю первый обед для русских солдат.
Вечер под Брно. Туман и дым над сопками. Где-то город. Так всегда: предчувствие города, который начнется открыванием неожиданностей. Стрельба.

* * *

Сегодня видел снова поле боя и города, в которых час тому назад были немцы. Снова воодушевлен и вдохновлен, а то сидел, как в Чистополе, пять дней.

Брно, 26-28 апреля

Лежат убитые немцы. Никто их хоронить не хочет, они прикрыты забором.

* * *

Под Брно. Оржешковички. Возле одного дома сожженный Т-34. Его подбил какой-то фриц. Война еще не окончена.

* * *

Поле боя. Трупы наших солдат. Один по пояс виднеется из окопа. Рядом связка гранат. На груди знак гвардии. В кармане документы и фото. Мозговой, 1924 года, кандидат ВКП(б) с 44-го года. Награжден

двумя медалями «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Был почти всюду. На войне с 1942 года.

* * *

Немцев было много. Они бежали. Лангер остался. Он поражен, что его не трогают.

Брно

Пылает немецкий дом. Только что загорелось здание политического управления Моравии. Люди голодны. Они, как везде, растаскивают склады. Несут свиные ноги и ведра вина.

Братислава, 29-30 апреля

Не был здесь неделю, а узнать нельзя. Через Дунай построен широкий мост. Немцы только хотели, но не успели.

Муссолини повешен. Правильно. Суд, не отходя от эшафота!

* * *

Вчера с С. Головановским поехал через Дунай. За час побывал в трех странах: Венгрия, Австрия, Словакия. У меня уже притупилось понятие о границах и о Европе. Неожиданно полицейский заговорил по-мадьярски. А только сейчас кто-то по-немецки рассказывал, куда ехать.

* * *

Танкисты первые врываются в город. Один танк идет к цветочному магазину. Ребята берут огромные венки свежих цветов. Ведь кто-нибудь погибнет. Через час бой.

1 мая

Проехали через Братиславу и словацкие села. Народу много. Национальные флаги, и костюмы, цветы, на площадях танцы и музыка. За Дунаем — Австрия. Пустынные городки. Флаги только красные. И лишь в Вене появились австрийские флаги. Вечер провели в концертном зале. Произведения Штрауса. Дирижер Клеменс Краус.

Старик, подвижной. Вальсы Штрауса в Вене! Чудесные «Сказки Венского леса». На бис «Дунайские волны». Венцы неистовствовали.

Ведь только недавно здесь, на площади Шварценберга, возле зала и театральной академии, стояли орудия на прямой наводке и рвались мины. А сейчас гремят вальсы.

Едем по городу. Я узнаю дома и улицы, где был в дни боев и первые часы освобождения. Все уже убрано, но народу еще мало. Трамваи ходят. А за каналом коробки сожженных домов. Тишина и безлюдье.

* * *

Прилетел из Москвы один правдист. Там отменили светомаскировку. Боже мой, как прозрел город, как он взволнованно сияет.

Опять вспоминаю Будапешт. Зольман Вейнбергер приехал из Москвы. Он был эмигрантом. Здесь нашел мать и сестру. Он пришел, как из другого мира. Его сын ранен под Варшавой, он друг и ровесник Леонида Баскина, майора, командира полка, у нас с ним есть общая знакомая по Москве — стройная девушка Нина. Мир тесен, но в этой тесноте уют и теплота...

2 мая

Утро в Вене. Очереди у магазинов. Туман. Едем мимо военного министерства через канал, по мосту через Дунай во Флорисдорф. Здесь уже недалеко протянута проволока и надпись: «Стоп! Линия фронта». Пушкاري спят у орудий, пехоту муштруют на плацу. Немцы на горе. Но если их не тревожат, они молчат.

* * *

В комендатуре регистрируют немцев. Молодая женщина из Кесселя. В 1943 году вышла замуж за австрийца, обер-ефрейтора, и приехала сюда. Она плачет. На руках у нее ребенок.

* * *

Есть извещение, что умер Гитлер. Это никого не устраивает. Его каждый хотел бы повесить.

* * *

От Братиславы. Резкий ветер и дождь. На дороге матрос. Просит подвезти. Он едет к сестре-связистке в Модру. Сам с 1939 года во флоте, с Дальнего Востока. Букет девиц. Он говорит:

— Сержант Рассказов...

— А! Знаем! Аня вас так ждала. Сейчас позовем. Боже мой! (Кричат все.)

Конечно, это не сестра, а невеста. Стеснялся. Парень славный. Уволен на сутки. Входит она, смотрит и не узнает. Все-таки шесть лет прошло. Ей было тогда 13–14 лет. Он говорит: «Аня, Аня!» Бросается к нему, Смущена. Прячется в шкаф. Я говорю девушкам, сидящим за столами и аппаратами:

— Ну, теперь уйдем и оставим их одних.

Мы уезжаем. Дождь. Я простужен. Продрог. И только их встреча меня согревает.

* * *

Мост в Братиславе. Его построили за 7 дней. Каждый день гибло не менее 7 человек. Кто срывался, того уносил Дунай. А в один день сорвалась площадка, и утонуло 30 человек. Ноги были холодные, работали в шинелях и выплыть не могли. А сейчас по мосту гуляют толстые словачки и пижоны в светлых плащах.

* * *

Венский зоопарк. Голодные звери. Медведи, львы, волки. Ходят наши солдаты.

...Венский зоопарк взят под охрану воинской частью. Солдаты кормят зверей.

Шиллинги выпускали для Австрии американцы. Но мы испортили им финансовый план и сами пришли в Вену.

4 мая

Под Корнейбургом в лесу. Леса весенние. Немцы в 300 метрах. Стрельбы уже нет. Хотят сдаваться, но боятся. Весь день мечутся с белым флагом. В окопах наших никого. Все ходят в полный рост. Поют.

Все солдаты в новеньких гимнастерках. Готовятся к миру.

4 мая

Под Корнейбургом. В полку нашли три русские книги. Одна «Письма из Берлина», издание С.-Петербург, 1904 год. Мы узнали, что где-то рядом есть дом с русской библиотекой. Помчались туда.

— Я там Салтыкова-Щедрина нашел, — сказал один шофер и указал дорогу.

Нашли дом. Здесь жил какой-то немецкий ученый, знаток русской истории и литературы. На полках Блок, Брюсов, Мережковский, подшивки газет за 1936 год, эмигрантских, Горький и Чехов на немецком, Гоголь на немецком. Все перерыто. Каждый день здесь бывают солдаты, и кто-нибудь уносит книгу, одну, любимую. Этот дом в зарослях сирени и травы как-то становится родным каждому. Это поражает и трогает — русские книги под Веной. Здесь я нашел Ключева, Луначарского, Пришвина и очень много антисоветчины на немецком языке, изданной в 20-х годах. Профессор был стар, а быть может, и помер давно. Здесь же лежат футляры от скрипок, старое белье. Во дворе горшки от рассады.

5 мая

Американцев уже много в Будапеште. Они у Дуная открыли свое кафе. Говорят, что Австрия отойдет им, но пока здесь еще бои и наши коменданты.

* * *

Вот уже второй день в газетах Братиславы объявлено о капитуляции немцев. Наше радио еще молчит. Еще идут бои. А здесь уже празднуют победу.

7 мая всю ночь наши солдаты палили в небо из орудий и винтовок. У площади Гвездослава остановился обозник, открыл бочку вина и угощал всех проходящих.

* * *

Ночь на 9 мая. Я на Бартошвей. Всю ночь стрельба. Но это уже второй день. Я не очень верю. Утром узнаю — мир. Этого дня так ждали наши, а пришел совсем обычно. Правда, после холодных дней солнце светит по-летнему. Едем из Братиславы. Здесь ждут Бенеша и еще ко всему — победа. Флаги, народ. В Брно — демонстрации. Флаги и толпы на всем пути. С трудом добираемся до Елгавы. Здесь утром были немцы. По пути встречаем много немцев — колонны и группками. Нет конвоя. Они кланяются нам. Однако нам хорошо известно, что есть еще

очаги сопротивления. Очень не хочется погибнуть в День Победы. А навстречу везут раненых. Сегодня до 12 часов еще наши бомбили. Дымятся обломки, повозки. Чехи искренне кричат нам «наздар», машут руками, бросают цветы, все они в праздничных нарядах. Они счастливы. Городок Елгава. Чудесный городок. Цел совсем. На площади шпалеры жителей. Приветствуют. Рады. Местные немцы бежали навстречу американцам. Ночуем в особняке. Гостеприимство великолепное. Я люблю этот народ: красивый, трудолюбивый, честный.

* * *

В Москве сейчас столпотворение. Как счастливы все. И в этот день трудно думать, что было горе, безнадежность, отступление.

10 мая

Рано утром выехали на Прагу. До Праги еще 223 километра. Туман. Но день будет жаркий. Дороги забиты машинами. Едут немцы и наши. Наши 2-3 человека на огромном грузовике. Немцы, как мухи, облепили свои. Идут бесконечные колонны пленных. Немцы идут с женщинами и детьми. Много штатских и солдат, измученный вид, грязные, безразлично-утомленные. В городе Немецкий Брод площадь забита брошенными машинами. Они гружены добром. Ко мне подходят подростки в арестантских ермолках. «Мы евреи, мы пять лет работали в лагерях». Мы им даем с машины все, от сардин до костюмов. Здесь же ходят немцы-шоферы. Их берут с собой наши, которые спешат на Прагу. Здесь мы находим авто, пересаживаемся и едем дальше. Ведет чех. Вдоль дороги стоят люди. Все они празднично одеты. Лето, девушки в национальных костюмах. Бросают цветы. Кричат: «Наздар!» Угощают водой, пивом, пирогами-бухтами. Останавливаются солдаты и берут девушек с собой в Прагу. Те счастливы. Вот уже и машины из Праги. Едут чехи, они там были на экскурсии...

Пока меняем нашу машину на еще одну, а потом другую. У обочины сидят фрицы. Вот старый майор в орденах. Наш парень ходит и подбирает себе сапоги. Все очень и очень веселы. У дорог стоят жители окрестных деревень. Они приехали на велосипедах, которые грудami лежат на траве. У въездов в города полотнища: «Здравствуйте!» Немцы проходят между нами и чехами. Через их головы летят цветы и приветы. Город Чешский Брод. Снова пробка. Не проехать. Местные юноши вооружены до зубов. Они ведь не воевали, как мы, по 4 года. Вот им и интересно ходить с оружием. Один идет с русским автоматом. Кто-то уже на радостях подарил ему.

Въезжаем в Прагу. Пригород Жижков. Есть разбитые дома. В центре, на площади Вацлава, не проехать. Толпы и демонстрации. А в парке еще постреливают перепуганные гестаповцы. Радужье огромное. Все хотят пожать руку, приглашают к себе. Вот старый украинец. Он из-под Львова, флейтист. Здесь живет давно. Уже выходит газета молодежная. Шапка — «И тот, кто с нами по жизни шагает, тот никогда не пропадет».

Едем в район Бубенеч. Вот здесь жил турецкий посланник, а здесь — американский. Его нет. Есть жена, высокая блондинка, и чех-шофер. Она говорит:

— Я знаю одну только русскую фразу: «Смерть немецким захватчикам!» — Произносит это с левитановским акцентом.

Бубенеч утопает в цветах, сирени, тополях.

10 мая

На одной из улиц на постаменте бюст Гитлера. Чехи бьют его палками и камнями. Город. Много зелени. Аллеи и скверы. Дома почти все новые — светлые, мебель простая и прочная.

11 мая

Возле полиции сидят на тротуаре итальянцы в немецкой форме. Это пленные.

* * *

В магазине мне говорила чешка, что немцы еще где-то воют. Трудно привыкнуть, что уже нет войны.

* * *

11 мая возле парламента хоронили погибших 10 мая, после войны. Ст. л-т Глазков, капитан Семенов. Зелень, цветы, слезы чешек.

Хороним полковника Сахарова. Чехи брали на память горячие гильзы от крупнокалиберного пулемета. Это память о храбрых и об освобождении.

Вечером еще продолжали идти машины, обозы, танки. Все происходило так же, как вчера. Только уже появились наши регулировщицы. Побывали в ресторане «Шроубек». Душно, и все по карточкам. Слышен голос нашего солдата:

— Русский табак лучше всех: английских, турецких, немецких.

* * *

Возвращаются из лагерей и тюрем. Вот идут четверо в полосатых костюмах. Вечером встретил две колонны французов и бельгийцев. Идут из лагерей. «Наздар!» — кричат им чехи.

* * *

Нас возит чех. Вдруг к машине бросается прохожий, хватает его и кричит. Рядом идут танки, и ничего не слышно. Потом: «Немец! Немец!» Он душит его. Шофер повторяет испуганно: «Я чех!» Он действительно чех, но возил немца. А его сосед, этот бухгалтер, видел и теперь жаждет крови. Это уже чересчур. Я видел на дорогах, как немцев берут шоферами. Машин очень много. Через 50 километров его угощают и дружелюбно беседуют. Русская душа! Все сразу забывается, хотя на нем германская форма и ленточка орденская.

12 мая

Самый головокружительный день. Вчера решили ехать в Дрезден, а потом в Берлин! На рассвете выехали. Шофер прекрасный, он ездил Прага — Париж — Мадрид. Германию знает. Он чех. После Терезина, граница протектората, начинается Судетская область. В Терезине крепость, где сидели политзаключенные. Вот идут они — французы, худые, как скелеты, в ботинках на деревянных подошвах, пиджаки висят, как на вешалках. У дороги под каштанами беседуют солдаты с военнопленными. Мой ровесник, москвич, студент института связи, попал в плен под Уманью.

— У меня одна мать. Писать не буду. Похоронила. Приеду — и все.

Из Судетской области чехи гонят всех немцев. Жарко, как в июне 1941 года, вот они идут: дети, старики, женщины, солдаты. Тянут тележки, огромные возы, где лежат вещи целой улицы. У речек сушат белье, моются и идут дальше. Крутые подъемы Рудных гор и Судет, курортные местечки. Они идут, тяжело дыша, потные, молчаливые, но жизнь есть жизнь, и приходится пеленать детей, варить кофе, отдыхать.

Да, забыл: в Судетской области, на домах в городе Теплице, порусски писано: «Чехословацкая республика». Это решают сами солдаты и чехи без всяких конференций, это понимают немцы и бегут. Надпись на доме: «Германия». За ней развалины Альтенберга.

Пригороды Берлина — Мариендорф, Потсдам. Окопы наших артиллеристов украшены лозунгами: «Да здравствует 1 Мая!», «Да здравствует мир!»

Солдаты ушли, уже мир, а лозунги и траншеи остались нетронутыми. Вдоль всей автостреды до Берлина надписи: «Слава пехоте!», «Слава артиллерий!» и т. д.

Берлин

Въехал в него в 21.00, а в Германию в 14.00. Уже сумерки. Много разбитых домов, до центра не доехали, заночевали в комендатуре района. Много здесь девушек освобожденных — украинки, польки.

* * *

Подполковник Баранов. Его знает не только Шенебергский район, но и Карлсхорст. «Нужно так работать, чтобы наш район стал лучшим в Берлине и Берлин — лучшим городом» (!!). «Доказать немцам, что русские — не то, что Геббельс говорит!»

* * *

Тост майора-казаха. За то, чтобы наша комендатура была лучшей в Берлине!

21-го мая, именины

За стол пригласили бургомистра района и его жену — немцев. Подполковник, который едет в Минск замнаркомпищепромом, провозгласил тост: «Я пью за вас и вашу супругу и за то, чтобы уничтожили нацизм».

* * *

Шенебергский район. Там мы ночевали. На улице свет. Комендант читает лекции, немцы устраивают концерты, работает ресторан.

Возле рейхстага толпы солдат и машин. Все фотографируются. Они приехали в Берлин на экскурсию. От этого душа радуется...

* * *

У всех, кого немцы поработили, есть флаг. Шоссе пестрит датскими, польскими, французскими флагами, и только немцы идут, идут с белым — знаменем капитуляции.

Проходит колонна солдат, пленных. В их рядах женщины, дети. Их поддерживают под руки. Прошла колонна, а на траве и шоссе остались тряпки, обрывки бумаги и обессиленные немцы. Вот один, седой, сидит у дерева, он не может разогнуть ноги. Двое лежат, тяжело дышат.

* * *

Я сижу на бульваре, читаю газету. Рядом на скамье трое старух немок, с другой стороны полька и ее муж — голландец...

Немки спрашивают, будет ли отстраиваться Берлин.

— Да, но раньше немцы построят русские города.

Им переводят. Они побледнели — боятся, что их, 70-летних, пошлют. Смешно и жалко. Они говорят:

— Германия Гинденбурга была хорошей. Старая, добрая Германия.

— И плачут.

* * *

Берлинцы работают: они разбирают баррикады, развалины, чистят улицы.

* * *

Прага снова меня взволновала. Чудесный, просторный город. Легко здесь дышать. После развалин Берлина — рай.

На Вацлавской площади пленные немцы собирают битое стекло.

Сегодня много английских солдат в Праге. Они в основном в отелях и в ресторанах. Вид у них туристов.

Мир

Утомляет безделье. В зеленых рощах стреляют солдаты по учебным мишеням. В Альпы, в лагеря, уходят полки. Под Веной на курортах разместились штабы.

Теперь с интересом читается вся иностранная информация: осложнения с Японией, Польшей, Югославией. Не дает покоя фронтовикам. А вдруг снова... Успокаивают себя, что дипломаты

договорятся, но если опять бы пришлось идти — пошли и дрались бы отлично.

* * *

Солдат вернулся в Киев. У него жил немец на квартире. Убил его мать. Ограбил. Случайно нашел конверт с его берлинским адресом. Это было в 1943 году. В 1945-м он пришёл в Берлин и нашел дом этого немца. Здесь он увидел свой костюм, присланный в посылке. Немец уже давно был убит. Его вдова, когда узнала, кто этот пехотинец, смертельно побледнела. Солдат не стал брать своего костюма. Он только на дверях написал: «Сюда приходила месть из Киева, с ул. Чкалова, из дома № 18». Наутро вдова сбежала в деревню. Солдат решил поселиться здесь с друзьями. В шкафах он нашел много знакомых вещей, и это ему напоминало мать, дом, Киев.

После войны

29 мая

Когда мы узнали о конце, каждый больше всего боялся умереть. Жизнь после войны солдаты берегут сильнее.

По Словакии уже несколько дней на Шаморин и дальше идут обозы — солдаты едут в Россию. На телегах красные флаги. Бойцы повеселели. Они раздают детям, разбрасывают пачками кроны...

* * *

Сейчас очень многие хотят демобилизоваться — находят какие-то старые болезни, ездят на рентген, стонут и кряхтят. А еще всего две недели назад они были бодрыми и подтянутыми офицерами. Все это не страшно. Пусть хитрят — они победили.

* * *

Опять снилась Москва.

1946-1952 гг.

Стихи

Главы из поэмы «Дальний гарнизон»

Из записных книжек

*А я спешу.
Мне нужно до рассвета
поспеть на стройку.
Я там очень нужен.
Быть нужным — это счастье.
В путь, друзья!*

С. Гудзенко

Послесловие 1946 года

Опять в дороге провожаю год.
Опять осенний ветер крут и резок.
Он раздувает наши гимнастерки,
плащи и пиджаки, как паруса.
И кажется, вот-вот мы улетим
под небеса...
Но держит нас земля —
не разлучиться
с ней, жесткой и колючей.
Не расстаться
с ней, ласковой и верной,
никогда!
И мы идем к строительной площадке.
Здесь будет город.
Говорят об этом
нам крутобоких бревен штабеля,
кирпич,
сухая пыль цемента
да балки двутавровые.
Сюда
их день и ночь завозят.
Очень скоро
придут строители
и жизнь вдохнут
в железо и кирпич.

Да,
очень скоро
мы будем снова принимать воронки
от тонных бомб за котлованы.
Снова
противотанковые рвы
считать
системой орошения.
Завалы
в лесах совсем не будем замечать.
Ну, а пока,
в году сорок шестом,
стоим мы на строительной площадке:
немецкий танк в песке оставил трак,
как будто бы змея меняла кожу
и, тягачом прикинувшись, ушла,
не пушку выставив,
а кран подъемный.
Лежат в песке узлы тяжелой стали,
изорванной и ржавой,
и молчат,
молчат о том, что повториться может.
Привала нет!
А есть опять работа,
опять забота
о тепле и свете,
опять пехота
плотничает, строит;
опять саперы
новые дороги
прокладывают по лесам и топям.
Опять шоферы,
чертыхаясь, возят
дубы и сосны в три охвата.
Снова
мы ездим на попутных
и живем
в бараках и домах на поле боя
(на бывшем поле боя).
Не забудь,
как первую любовь не забываешь,
профессию,
с которой начинали
мы нашу жизнь.
Ее зовут: военной.

И если вновь...
Сам понимаешь.
Если
опять, как в сорок первом...
На заре
уйдем в поход,
уйдем в последний бой,
чтоб пехотинцы занимались мирным
строительством домов,
чтобы шоферы
возили не снаряды, а бидоны
с прохладным молоком для детсадов,
где будут наши внуки.
Мы для них
войну опишем просто и правдиво —
им не придется больше воевать!
...Опять в дороге провожаю год.
Осенний ветер мне лицо изрезал,
осенний ливень до костей промыл.
А я спешу.
Мне нужно до рассвета
поспеть на стройку.
Я там очень нужен.
Быть нужным — это счастье.
В путь, друзья!

1946

«Мы не от старости умрем...»

Мы не от старости умрем —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром.

В нем горечь, хмель и аромат
заморской стороны.
Его принес сюда солдат,
вернувшийся с войны.

Он видел столько городов!
Старинных городов.

Он рассказать о них готов.
И даже спеть готов.

Так почему же он молчит?
Четвертый час молчит.
То пальцем по столу стучит,
то сапогом стучит.

А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что было здесь,
когда мы были там...

1946

Добрый дождь

Дождь засуху трясет,
аж пыльный шлях дымится.
Как из пчелиных сот,
вода в поля стремится.
Старухи крестятся,
дождю подставив лица.
Кто с ливнем встретится,
тот сразу прослезится.

На зависть петухам,
дождь запекает звонко.
Пройдет по лопухам —
слышны удары гонга.
В реке завертится —
идет кругами пена.
Кто с ливнем встретится,
полюбит непременно.

Дождем промыт дубняк,
стволы дубов набрякли.
На гололобых пнях
слезой застыли капли.
Дождем размыта гать,
камней чернеют туши.
Я склонен полагать:

дожди имеют души.

Есть добрая душа,
есть хмурая и злая.
Тогда, дубы круша,
дождь ходит, завывая.
А эту добрую
узнал по лентам ярким.
Дождь ходит с торбою
и раздает подарки:
кому водицы жбан,
кому грибы на ужин.

Как будто в барабан,
дождь бьет в тугие лужи.
— Нет больше за-су-хи! —
орет он в полумраке.
Цепляясь за суки,
за пни и за коряги,
бредет лесами дождь,
туда,
за перевалы.

Спроси:
— Куда идешь? —
махнет рукой устало.
Еще немало дел
в полях у работяги.
Он вымок.
Он вспотел.
Он воду пьет
из фляги!

Закарпатье, 1946-1947

Год рождения

Я родился даже не в двадцатом.
Только по стихам да по плакатам
знаю, как заваривалась жизнь.
Знаю по словам киноэкранов,
знаю по рассказам ветеранов

первые шаги в социализм.

Нет,
не довелось мне с эскадроном
по лесным,
по горным,
по гудронным,
по степным дорогам кочевать.
...Я родился даже не в двадцатом,
и в гражданскую одним солдатом
меньше полагается считать.
Но зато, когда в сорок четвертом
стреляным,
прострелянным
и гордым
вышел полк на горный перевал,
немцы, побратавшиеся с чертом,
сразу позавидовали мертвым,
ну, а я забыл, что горевал
о своем рожденье с опозданием,
что не смог в семнадцатом году
рухнуть ночью
на гудящем льду,
выполнив особое задание.
Полк идет.
Костер у каждой тропки
озаряет пропасти и лес.
Огонек мигающий и робкий
заревел и вырос до небес —
это осветили закарпатцы
в каменных ущелиях проход.

...Был тогда сорок четвертый год.
До конца еще полгода драться.
Но на миг мы ощутили все
мир в его невиданной красе.
В Рахове шумела детвора,
в Хусте
пели песни до утра,
в Мукачеве
заседала власть —
в этот миг свобода родилась,
как у нас в семнадцатом году!
Полк уже по Венгрии идет.
И готов я на дунайском льду

рухнуть ночью,
выполнив задание.
И мой сын,
услышав обо мне,
погрустит в тревожной тишине,
что родился тоже с опозданием.

1947

Закарпатье

Я не знал, что за горным кряжем
есть такая страна,
где слышна и русская песня,
и украинская слышна.

Не читал я об этом в книгах,
а по карте не разберешь:
то ли песни шумят в долине,
то ли реки шумят,
то ли рожь?

Я по улице Льва Толстого
на рассвете вошел в городок.
В каждом домике закарпатцы
знали Пушкина назубок.

Углекопы и лесорубы
выходили навстречу мне
и расспрашивали о нашей
победительнице-стране.

Я гордился моей державой,
и меня любовь провела
от села на чешской границе
аж до раховского села.

Виноградари и землеробы
угощали терпким вином.
Я рассказывал.
И вставали
сталинградские рубежи.

— Расскажи нам о Ленинграде
и о Ленине расскажи!

Я рассказывал.
И вздымался,
прорывая узлы блокад,
город — родина революций,
гордость Родины —
Ленинград.

И спокойно смотрели на запад
закарпатские мужики,
ощущая пожатье крепкой
и всегда справедливой руки.

...Я по просеке вышел в поле,
и казалось — на тысячу верст
озаряет страну сиянье
негасимых кремлевских звезд.

1947

Баллада о трактористе

Он пришел из черноземных мест
рядовым полтавской МТС.
У Миколы линия своя:
ездить в отдаленные края.

...Вот он выезжает со двора —
перед ним пологая гора,
переполосована земля
на единоличные поля.

Тесно на бедняцкой полосе:
полгектара вспашешь — и уже
лебеда висит на колесе,
разворачивайся на меже.

Никогда не видел он межи,
только фронтовые рубежи.

Первый раз он пашет — не поет,
«подкулачником» себя зовет.
Надоело!
Крикнул за кустом:
— Я вспашу, поделите потом!

И пошел — да через весь массив.
Ахнули, увидев, мужики.
До чего же горный склон красив!
До чего просторы широки!

И село задумалось всерьез.
...Я потом слышал от старика,
что организован там колхоз
имени Миколы Чумака.

1947-1948

Дорога в Карпатах

Хлеб и соль я поберег —
далека дорога.
Нужно вдоль и поперек
этот край пройти.
Я не пожалею ног —
стран таких немного.
Можно десять пар сапог
износить в пути.

Виноградная лоза
оплетает села.
Как безумная слеза —
мутное вино.
Широко раскрыв глаза,
пыльный и веселый,
через реки и леса
я иду давно.

Я иду по склону гор —
будто поднят полог:
не видал я до сих пор

скал таких и трав.
Начинает разговор
спутник мой — геолог.
Затеваем жаркий спор,
в споре каждый прав.

Он показывает мне
голубую глину.
Я о мачтовой сосне
говорю ему.
В предвечерней тишине,
выйдя на равнину,
я увидел, как во сне,
горный кряж в дыму.

Переходят речку вброд
пастухи и козы.
Лесоруб домой идет,
лесоруб спешит.
Оплетают небосвод
бронзовые лозы.
После песен и забот
Закарпатье спит.

Только я один не сплю —
путь держу на Севлюш.
До чего же я люблю
по ночам брести!
До чего же я люблю
под ногами землю!
А над головой люблю
звездные пути!

1947-1948

«Я в гарнизонном клубе за Карпатами...»

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
читал об отступлении, читал
о том, как над убитыми солдатами
не ангел смерти, а комбат рыдал.

И слушали меня, как только слушают
друг друга люди взвода одного.
И я почувствовал, как между душами
сверкнула искра слова моего.

У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция —
Война...

1947

«Чтоб увидеть прошлое яснее...»

Чтоб увидеть прошлое яснее —
в чуме закоптелом наяву, —
за пять тысяч с гаком, к Енисею,
потянуло юношу в Туву.
Он любил непаханую сушу,
воду, не подвластную мостам,
и влекло восторженную душу
вечно к новорожденным местам.
Работяги те же,
хлопцы те же,
с кем уже ходил он на войну,
на Карпатах запахали межи
и в Туве подняли целину.

Юношу в обкоме обласкали:
дело дали,
лекцию прочли,
спутников надежных подыскали,
чтоб его на Тоджу провели.

И пошел он дальше от селений
в кедрачах дорогу проторил,

дом срубил,
и приручил оленей,
и писать соседей научил.

Если б я
был чуточку моложе
и дорогу снова выбирал,
я б в тайгу,
как этот парень, тоже
капитально перекочевал —
дом срубил,
и приручил оленей,
и писать соседей научил.

И тогда бы
цикл стихотворений
мой сосед дремучий сочинил.

И однажды,
ночь встречая в поле,
развернув газету на дохе,
я себя узнал бы в новоселе
в трудном
силлабическом стихе.

Кызыл, 1948

«Безгранична степь...»

Безгранична степь,
бездыханна —
только крыльев всплеск,
только вскрик
да старинным путем Чингисхана
запыленный гремит грузовик.

...Если хочешь увидеть, историк,
перемену веков и эпох —
поднимись на гранитный пригорок,
где рыжеет от времени мох,
где из камня долбленная баба
удивленно уставилась вниз,

на плывущий по тряским ухабам
с перегруженным кузовом ЗИС.

Он летит из районного центра
по кочевьям в Сут-Хольской степи —
весь из грома,
из молний,
из ветра.
Повстречаешь —
тропу уступи!
И гляди,
как вдогонку клубится
то ли пыль,
то ли дым,
то ли прах.

Как в ковыль забивается птица,
гонит зверя грохочущий страх;
как дразнящие ветры погони
распахнут небеса,
обожгут;
как сорвутся в селениях кони —
и мальчишки
на курсы сбегут!

Кызыл, 1948

Катюша

Дочка у меня. Такая милая,
милая, как дети всей земли.
Землю полюбил я с новой силою,
новые мечты ко мне пришли.

Пусть же наши беды, наши трудности
будут для нее уже не в счет.
От грудного возраста до юности
сколько рек в пустыню потечет,
и ее ровесники зеленые,
из гнезда вспорхнувшие дубки,
выпестуют степь засолоненную,
выходят зыбучие пески.

Пусть же в каракумское безбрежие,
где и мне пришлось топтать песок,
с Каспия ветра ударят свежие,
из Амударьи свернет поток,
чтоб на зорьке девочка несмелая
собирала дивной красоты,
не от пота, не от соли белые,
не от крови красные цветы...

Дочку я свою назвал Катюшею
(это имя поберег с войны),
помня, как над реками, над сушею
были небеса опалены.

Вот она, еще не зная многого,
с полуслова понимает мать,
и посменно бабки нрава строгого
возят на бульвар ее гулять.

Скоро встанет на ноги и первые
в будущее сделает шаги.
Как боятся этого, наверное,
наши с нею общие враги!

И сегодня злей не потому ль они,
что с ее рождением я сильней,
что меня ни засухой, ни пулями
разлучить они не могут с ней —
с беззащитной, крохотной, милою,
без которой свет уже не мил,
для кого грядущее планирую,
для кого отстаиваю мир.

И она пытливо, с удивлением
из коляски смотрит на меня —
наше молодое поколение,
от рожденья сто четыре дня.

Москва, 1 мая 1951

«Я пришел в шинели жестко-серой...»

Я пришел в шинели жестко-серой,
выданной к победному концу,
юный, получивший полной мерой
все, что полагается бойцу.

Для меня весна постлала травы,
опушила зеленью сады,
но опять из-за военной травмы
побывал я на краю беды.

Сон мой был то беспробудно жуток,
то был чутче гаснувшей свечи,
жизнь мою спасали много суток
в белом, как десантники, врачи.

На Большую землю выносили
сквозь больницы глушь и белизну,
словно по завьюженной России,
первою зимою, в ту войну.

Смерть, как и тогда, стояла рядом.
Стыл вокруг пустынный, черствый снег.
Кто-то тихо бредил Сталинградом,
звал бойцов, просился на ночлег.

Все мои соседи по палате,
в белоснежных, девственных бинтах,
были и в десанте, и в блокаде,
и в других неласковых местах.

Мы врага такого одолели —
никому б его не одолеть,
на войне ни разу не болели,
а теперь случилось заболеть.

Наша воля делалась железной
с каждой новой битвой, с каждым днем.
Есть еще силенки,
и болезни
тоже одолеем и сомнем.

Я угрюмо зубы сжал до хруста,

приказал себе перетерпеть.
Незачем, пожалуй, править труса,
выбор небольшой: жизнь или смерть.

Медленно пошел я на поправку,
вытянули жизнь мою врачи,
как весною чахнувшую травку
из-под прели добрые лучи.

Вопреки сомненьям маловеров
и наперекор всем, кто не ждал,
как тогда, в шинели жестко-серой,
на ноги я крепнувшие стал.

И опять в больничном коридоре
я учусь ходить —
хожу смелей,
всем ходячим недругам на горе —
став и несговорчивей и злей.

Ждет меня любимая работа,
верные товарищи, семья.
До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я.

Март 1952

«И снова жизнь...»

И снова жизнь.
Звенит капель.
И в переулочных глубинах,
за легкой дымкою апрель,
весь в зелени, на ножках длинных,
у отворенного окна
хохочет звонко вслед проходим,
мальчишкам, на него похожим,
орущим, что пришла весна,
бредущим наугад по теплым
каменьям, вспененным ручьям,
увеличительные стекла
подставив солнечным лучам.

И я, пути не разбирая,
бреду по мокрой мостовой.
Опять весна, опять живой.
Милее, чем ворота рая,
мне дверь заветная одна.
Я снова у того порога,
где ждут меня, где жизнь моя.
И не тяжка моя тревога.
Дочь, не пугайся, — это я.
Меня встречают на пороге,
целуют, под руки берут,
и хоть не слушаются ноги,
хоть каждый шаг — и боль и труд,
иду, надеждой, окрыленный,
что дома и что вновь живу,
гляжу в окошко на зеленый
апрель, ворвавшийся в Москву.
Здесь всех начал моих начало,
здесь узел всех моих дорог.
Слеза упала, легче стало,
я на кровать свою прилег,
и наклонилась к изголовью
та с вечно молодым лицом,
мы с ней обручены любовью
покрепче, чем любым кольцом,
и губ ее прикосновение
в меня вдохнуло столько сил,
что я бы камень преткновения
хоть в тонну весом своротил.
Как прежде, сдержанна при третьем
(пусть даже это наша дочь).
Давай погасим свет и встретим
по-праздничному эту ночь.
Но я, как на войне солдаты,
боюсь загадывать вперед,
быть может, общая палата
меня уже обратно ждет,
Но даже если жизнь мгновенна,
я счастлив жить,
и вновь и вновь
твержу: да будь благословенна
жена, хранившая любовь.

.....

За окном апрельское ненастье,
теплое по-летнему уже.

Людям невдомек, что снова счастье
на высоком нашем этаже.

Март — апрель 1952

Дальний гарнизон (Главы из поэмы)

Глава шестая. Марш в песках

Как обманчива пустыня на рассвете!
Отутюжены все складки на буграх,
и раскачивает жаворонков ветер,
как бубенчики на шелковых шнурах.

И пески лежат — прохладные,
немые.
Так и хочется побегать босиком!
И, величественно выгибая выи,
из райпо верблюды шествуют шажком.

Но солдат хороший чуду верит мало —
знает твердо он:
пичуга отзвенит,
только выкатится из-за перевала
солнце, за ночь поостывшее, в зенит.
Обещает небо жаркую погоду —
разошлись без столкновений облака!

...Все получено старшинами к походу —
пуд добра идет на каждого стрелка.

А добро стрелку положено какое?
Трехлинейка,
котелок,
противогаз,
да баклажка,
да лопатка под рукою,
да в мешке зеленом суточный запас.

Шаг упрямый,
шаг тяжелый,

шаг походный.
По колено пыль,
по пояс пыль,
по грудь!
К сорока уже по Цельсию сегодня
подскочила обезумевшая ртуть.

Солнце тоже поднимается все выше —
над холмами,
над песками,
над полком.

«Трое суток лили ливни», —
Таня пишет.
Ну, а разве ей напишешь о таком?
Третий месяц эта степь дождей не знала,
третий час пылишь, как проклятый, по ней!..

Федор Зыков от привала до привала
уставал все безнадежней,
все сильнее.
И казалось парню: ноги прикипели
к раскаленному песку —
не отодрать!
И хотелось парню, словно на постели,
на бархане хоть немного подремать.

Старшина шагает рядом:
— Что, рябина,
долу клонишься, качаешься?
— Печет...
— Дай-ка мне твой карабин!
Два карабина
не сотрут мое старшинское плечо!
— Хорошо б сейчас с Папаниным на льдине!
Попрохладней вроде...
— Мудрая мечта!
— Ну, куда тут заговариваешься, в пустыне?
Ни травинки, ни былинки, ни черта!
Тень какая от приспущенного стяга
и какая от штыков граненых тень?!

С теплым чаем алюминиевая фляга
оттянула, как свинцовая, ремень.
Строго-настрого приказано: не трогать

без команды лейтенанта —
ни глотка!
...Припекает солнце намертво дорогу,
не щадит оно усталого стрелка.

А чаек во фляге плещется и манит.
Так и просится:
«Хлебни меня, солдат!»
Как неполитый кленочек, парень вянет
и поглядывает изредка назад.

Дымовой завесой пыль за батальоном:
закружило всех и все заволокло.
То, что было перед выходом зеленым,
просолилось,
стало в лоск белым-бело!
Гимнастерки задубели на пехоте,
до железа не дотронешься рукой.

— Не мечтал гулять по этакой погоде!
— Говорят, что заночуем над рекой.
— Может, дождик вдарит, видишь, бродит
тучка?
— Хорошо бы...—
разговор ведут бойцы.
...Только скрюченная жухлая колючка,
да белеют вдоль дороги солонцы,
да по чистому уснувшему бархану
черепашьи неглубокие следы,
да на сотню километров ни стакана,
ни глотка тебе, ни капельки воды!

Шаг упрямый,
шаг тяжелый,
шаг походный.
По колено пыль,
по пояс пыль,
по грудь!
До пятидесяти градусов сегодня
поднимается расплавленная ртуть.

Старослужащие Цельсию не верят,
туркестанцев этой цифрой не возьмешь!
Всю пустыню, если надо, перемерят!
Жаль — без песни, но в песках не запоешь.

Вот идут они —
винтовки за спиною, —
рукава по самый локоть закатав,
обожженные не солнцем, а войною
у днепровских или волжских переправ.

Не такое старослужащие помнят.
— Что вздыхаешь, Зыков?
— Трудно.
— Помолчи!
Обжигала нас война, а в этой домне
Туркестанцу как у тещи на печи!

Что им солнце беспощадное, валившим
с одного снаряда танки под Москвой?
Что им ветер обжигающий, ходившим
в штыковые на берлинской мостовой?!

Им легко в колонне двигаться пехотной —
был пожарче от Москвы к Берлину путь!

...Шаг тяжелый,
шаг упрямый,
шаг походный.
По колено пыль,
по пояс пыль,
по грудь!

В гору пушки выползают на мехтяге,
опустив к земле короткие стволы.
Не торопятся машины-работяги —
но уж тянут, как упрямые волы!

И, колеса из завала выгребая,
поднатужилась пехота:
— Ну, разок!
— Взяли!
Разом! —
И машина боевая —
юзом,
юзом,
и пошла наискосок!
И умчалась.
Не слышны уже моторы,

только хруст песка —
полка тяжелый шаг.

...Где-то танки есть
и бронетранспортеры.
Есть полуторки в просторных гаражах!
Где-то — бог войны и чудо-самолеты.
Есть и вещи поновей у нас в тылах.
Но сегодня в одиночестве пехота
отрабатывает пеший марш в песках.
Отрабатывает выдержку и силу
в стороне от кишлаков, колодцев, рек —
там, куда отару редко заносило,
где не частым гостем пеший человек.

По дороге за колонной туча пыли.
Не заметил замыкающий солдат,
как в зеленом фронтовом автомобиле
генералы из дивизии катят.

Впереди сидит, плечом к плечу с шофером,
загорелый и обветренный старик.
Он за три десятилетия к просторам
государственной окраины привык.

Обошел он пять республик и объехал,
азиатское безбрежье пересек.
Гул шагов его хранит в ущельях эхо,
след сапог хранит разбуженный песок.

Он, как в юности, вынослив, непоседлив,
как на фронте, все спешит увидеть сам.
Он с бойцами по-отечески приветлив,
знает тысячи людей по именам!

К генералу обратиться можешь смело —
знают люди из полков и кишлаков,
что всегда и до всего в пустыне дело
депутату скотоводов и стрелков.

Приходи к нему и штатский и военный,
он на месте — даже в полночь приходи.
Как с отцом родным —
прямой и откровенный
разговор неторопливый заводи.

И выкладывай, какая есть забота.
Если требуется помощь — попроси.
На открытие сельгэс или завода
генерала непременно пригласи.

Он приедет не для славы и почета,
не в президиуме время проведет.
Обойдет он территорию завода,
будто роту поверяет, не завод!

Для него всегда законы службы святы:
ищет смысл во всем — не только «внешний вид».
Потому, волнуясь, ждут его комбаты,
услыхав, что он на стрельбища спешит;
потому обеспокоен предколхоза
из соседнего со штабом кишлака;
потому в песках «не нашего» вопроса
нет для старого бойца-большевика!

Он вернется с заседания горкома:
ждут дехкане депутата своего,
ждет начштаба,
и с утра заждался дома
старый друг,
что прибыл в отпуск из ПРИВО^[2]

И полночи вспоминают генералы,
как от кушкинских редутов на Герат
интервентская орава удирала,
удирал английской армии отряд;
как влюбились в край
(тогда пустой и дюнный)
два солдата из орловской стороны,
как мечтали жить всемирною коммуной
и мечте своей по-сталински верны.

...Вот он встал.
Усы свисают по-казачьи.
Как у старого учителя — пенсне.

— Генерал Багров приехал!
— Ух, горячий!
— И подвел же нас курянин! —
Как во сне,
вдруг увидел Федор Зыков генерала.

Дверца хлопнула,
идет к нему Багров:
— Поотстал, солдат? Нестрашно для начала!
— Первый раз иду!
— А может, нездоров?
— Нет, товарищ генерал, я не болею.
Я из Курска. Трудновато мне в песках.
— Понимаю. Хорошо б сюда аллею,
чтобы тень от лип да речка в камышах!
Значит, курский, Зыков, будешь? А района
ты какого?
— Ракитянского.
— Бывал...

...Генерал с бойцом шагают вдоль колонны.
— Письма пишешь?
— Нынче только отослал.
— Не родителю?
— Убит под Инкерманом...
— Говоришь, под Инкерманом? А отца,
ты скажи мне, Зыков, звали не Иваном?
— Да. Григорьевичем...
— У меня бойца
ракитянского, припомнил, так же звали.
Подкосил его у знамени свинец.
Мы с ним вместе в Черноморье воевали...
Слышишь, Зыков! А тебе он не отец?
— Это ж батя мой!
— Не может быть...
— Отец мне!
— Что же сын его на марше поотстал?
Видно, плохо разобрался ты в наследстве! —
И солдату улыбнулся генерал:
— Помни, Зыков: эти алые погоны
завещал тебе отец.
Учись, сынок!
— Есть, учиться!

Вдаль уходят батальоны.
И вернулся в строй смущенный паренек,
молча встал он под прославленное знамя
и пошел за ним вперед,
вперед,
вперед!

Старшина тогда сказал:
— Самосознание! —
Горобцов кивнул:
— Теперь не подведет...

И живой стоял у парня пред глазами
в плащ-палатке,
в каске
батька-фронтовик.

Как Багров —
был невысок,
плечист,
с усами.
Как Багров, спросил:
Что, малый, не привык?
Трудно, Федя? Я ведь знаю — трудно, Федя!
Завещал тебе отец нелегкий путь.
Но иного нет, сынок, пути к победе!
...По колено пыль,
по пояс пыль,
по грудь!

Полк в дороге от восхода до заката —
с каждым часом тяжелей походный шаг.
И в барханах сапогами отпечатан
не отмеченный картографом большак.

Вечереет.
И пустыня постепенно
остывает,
отдувается,
скрипит,
точно взмыленная лошадь, белой пеной
солонцовые излучины кропит.

Вечереет.
Перевернута страница.
И пески уже повиты синевой.
И по берегу реки молчит граница.
— Вот и край страны!
— Передний...
— Боевой!

Глава десятая. Солдатские будни

Легко солдаты служат,
когда сердечно дружат —
читают письма вслух
от матерей из дома,
из школы, из райкома,
от девушек-подруг,
сойдясь под вечер в круг.

Легко солдаты служат,
когда в свободный час
с хорошей книгой дружат,
хорошему учась,
над каждою страницей
о действующих лицах
толкуют горячась.

Бывает, что о долге,
о славе спор зайдет.
И вдруг стихи о Волге
прочтет стрелковый взвод.

И образ сталинградца
все озарит огнем.
И будет взвод стараться
себя увидеть в нем!

...Не сходит солнце с неба
как днем, лучи разят,
да комары свирепо,
что «мессеры», звенят.
Но у арыка тесно:
лежит, сидит народ,
никто не встанет с места,
в палатку не уйдет.

Полроты у арыка —
сейчас не стирка там:
свела пехоту книга
к развесистым кустам.

Жить легче с умной книгой.
— Читай, земляк, читай!

В ней правда о великой
войне за милый край!

И слушают солдаты,
и мнится молодым
за горным перекатом
чужой фугасный дым.

— Как быть?
— Как в книге честной!
— Как жить?
— Как Кошевой!
— А если смерть?
— Так с песней!
— А рана?
— Снова в строй!

О книга!
Друг заветный!
Ты в вещмешке бойца
прошла весь путь победный
до самого конца.

Твоя большая правда
вела нас за собой.
Читатель твой и автор
ходили вместе в бой.

...Я видел в Туркестане,
как в предвечерье
полк
над книжными листами
задумчиво умолк.

Чуть губы шевелились, —
казалось, в страшный зной
в пустыне наклонились
солдаты над Десной,
над Волгой,
над Онегой...

У каждого стрелка
любимая есть книга,
родимая река!

...А я такую в жизни
еще не сочинил,
чтоб воин Коммунизма
в ней жажду утолил!

У старшины в каптерке,
в палатке на пригорке,
картинки на стене
из фронтового быта,
чтоб не было забыто,
что было на войне.

У старшины в каптерке,
где сладок дух махорки
и запах гуталина
от сказочных сапог,
в которых из Берлина
пришел в пустыню полк,
где обмундированье
лежит на стеллаже,
где есть всему название,
все людям по душе, —
соленую от пота
боец одежду снял:
— Нарядным быть охота!

Кто чувство это знал?!

И сразу для героя
нашлись у старшины
отличного покроя
зеленые штаны,
мундир по лучшей моде,
знак гвардии на нем.

— Устал, герой, в походе?
— Под старость отдохнем, —
ответил Зыков басом.

В палатке старшины
курянин подпоясан
и с каждой стороны
придирчиво осмотрен,
ревниво обсужден,
как на осеннем смотре,

где скоро будет он.

...Веселый и опрятный,
спешит в райцентр солдат.
На нем мундир парадный
и пуговики горят,
на нем ремень, уставом
положенный бойцу.
И все на парне бравом
и кстати
и к лицу!..

Стучат подковки звонко —
сапожник был мастак!
Заслушалась девчонка,
пошла, замедлив шаг.
А мальчики —
те следом
бегут вперегонки:
— Гляди, Витюк, на этом
со звоном сапоги!

И даже два майора
довольны были им,
когда он вдоль забора
ударил строевым.

До парка недалече —
умерил Зыков пыл,
расправил шире плечи,
пилотку набок сбил.
И, отойдя в сторонку,
к тесовому крыльцу,
достал солдат суконку,
смахнул с кирзы пыльцу —
и в самом лучшем виде
пред публикой предстал.

Эх, если б это видел
товарищ генерал!

Сказал бы:
«Что я вижу!
Не узнаю орла!
Ну, подойди-ка ближе.

Как служба? Как дела?
Боишься, Зыков, марша?»

И Зыков бы сказал:
«Почетна служба наша,
товарищ генерал!
Хотя и трудновата,
да знаем, что нужна!»

...Но тут мечты солдата
нарушил старшина.

На старшине медали
за подвиг боевой
и прочие детали
эпохи фронтовой.

Он в том же направлении
из лагеря спешил.
Он Зыкова волнение
по-братски ощутил.
— Вдвоем повеселее! —
окликнул старшина.

...Вечерние аллеи.
Темнеет.
Тишина.

Прошли солдаты парком
солидно три кружка.
Один заметил:
— Жарко!
Другой:
— Хлебнем пивка.

...Багряного заката
в полнеба полоса.
В запасе у солдата
еще есть полчаса.

Прошли друзья к витрине,
где «Красная звезда»,
бывает, о пустыне
напишет иногда.
Потом пошли на почту —

и Павел Головки
рассказывал про дочку,
вздыхая глубоко:
— Курносая солдатка!
Ей там не до отца:
все ходит в марш по кладкам
от тына до крыльца...

На почте описали
друзей,
жару,
песок.

Всем родичам послали
привет на двадцать строк.
И передали милым
поклон от трех взводов.

Жаль, кончились чернила
и не хватило слов!

...Легко солдаты служат,
когда сердечно дружат —
читают письма вслух
у старшины в каптерке,
в палатке на пригорке,
сойдясь под вечер в круг;
у старшины в каптерке,
где сладок дух махорки,
картинки на стене
из фронтового быта,
чтоб не было забыто,
что было на войне.

А на войне, бывало,
идешь,
идешь,
идешь.
Ни хаты, ни привала —
болото,
ветер,
дождь...
Но приказали — значит
и день
и ночь

иди!
И щей не жди горячих —
бой жаркий впереди!

А на войне дружили
(всегда бы так дружить!)
и дружбой дорожили
(нельзя без дружбы жить!).
И Головко, парторга,
прикрыл в бою дружок.
Под сердцем гимнастерку
дружку свинец прожег...

А на войне победа
не сразу к нам пришла —
четыре знойных лета
большая битва шла.
Бесстрашно и сурово
дрались фронтовики.

...Так будет,
если снова
пойдут на нас враги!

Остужен жаркий воздух
в кленках,
в карагачах.
И полог в крупных звездах
у сопok на плечах.

О старшине заходит
беседа у солдат:
— Он прослужил в пехоте
все десять лет подряд.

— Душевный он.
— Бывалый!
— Толковый человек.
— Толковый? Это мало!
Он, знаешь, лучше всех...
— Он был под Сталинградом
в тот самый важный год!
— С таким я, если надо,
готов в любой поход
пойти без остановки!

— Надежный он у нас...

...Час самоподготовки —
учебы строгий час.

Глава двенадцатая. Говорит пехота

Нет, орлы,
пехота не забыла
силу сокрушающего ИЛа,
не забыли мы,
как в час атаки
на прикрытье
выходили ЯКи,
как бомбили,
как долбали гадов,
аж земля
ходила от раскатов;
как в щебенку
превращались доты
после этой творческой работы!

Нет, друзья,
пехота не забыла,
как прямой наводкой
пушка била,
как входила
в дело корпусная,
как шумела
буря навесная,
как трудились
пушкарки на славу,
извергая огненную лаву!

Нет, герои,
мы не позабыли,
как в завесах
снега или пыли
по таежным трактам,
по шоссейным,
по весенним травам,
по осенним —

танки шли,
ломаю оборону,
танки шли
к Хингану или Грону,
танки шли
с границы до границы.
Танки мыли
в Эльбе гусеницы!

Нет, бойцы,
пехота не забыла,
что связисты —
это тоже сила!
Пол-Европы вымеряв
и Азии,
знаем толк
в бесперебойной связи мы,
понимаем смысл
поддержки с моря,
видим друга верного
в сапере,
помним ход
днестровского парома
и минеров знаем
в годы грома!

Уважаем нашу медицину —
докторов
и медсестер веселых,
выносивших нас,
взвалив на спину,
врачевавших нас
в сожженных селах!

И хотя
без лишнего восторга,
признаем
заслуги военторга.

Ну, а нас,
а матушку-пехоту,
к дальнему привыкшую походу,
и в атаку прямо с ходу,
с места,
при поддержке

мощного оркестра —
музыки военного сезона —
приданного нам дивизиона,
тоже помнят
все друзья по фронту,
уважают
спутники по флоту,
признают
приоритет за нами,
нас, простых,
чеканят на медали.

Под одно
мы собирались знамя!
Под одним —
врага мы побеждали!

В армии —
как в боевом ансамбле —
сыграны все трубы и гармони,
сыграны орудия и сабли,
танки вездеходные и кони,
малые саперные лопаты,
и в одном строю с броневиками,
толом начиненные гранаты
и штыки, граненные веками!

За броней
машины многотонной,
под водой,
высокой и студеной,
в небесах
или в тени орудий —
были наши братья,
наши люди!

Их дыханьем
были мы согреты,
уходя в разведки
и секреты.
Их поддержке
были благодарны,
атакуя
батальон ударный.
Им спасибо —

их глазам лучистым,
их сердцам открытым и бесстрашным!
Слава понтонерам
и танкистам,
слава боевым артиллеристам —
всем соседям,
всем солдатам нашим!

...Отслужив сполна четыре года,
рядовым пришел я из похода.
Мне в бою, как честному солдату,
командир полка вручил награду.

И от имени друзей походных —
от солдат,
фронтовиков пехотных —
я хочу напомнить тем, которым
мы уже не раз напоминали:
только им нужны
да их конторам
годы бури,
крови
и печали.

Мой народ
к святой работе призван —
мой народ
на стройках Коммунизма!

И солдат
чеканят на медали
в память
о походе и победе, —
для того они и побеждали,
чтобы мирно жить на белом свете,
чтобы шире хлебные просторы,
чтобы больше чугуна и стали,
чтоб не мины, а руду саперы
щупом намагниченным искали,
чтоб согласно плану
степи покрывались лесами.

...Не смотрите из-за океана
мутными недобрыми глазами!

Мой народ
на стройках Коммунизма.
Мой народ
его построить призван!
И хранят покой моей державы
от Амура и до Уж-реки
зоркие и чуткие заставы,
сильные и славные полки.

ТУРКВО — Москва

1946-1952 гг.

Ташкент, 1 июня

В Голодной степи, которую еще Ленин мечтая озеленить, идут грандиозные работы. Там, впереди, бывшие фронтовики и солдаты-туркестанцы. Вот она, реакция после войны! Читай, Ремарк!.. Подрывники рвут землю на Голодностепском канале, строят Ферганскую ГЭС и другие ГЭС на каналах. Туда зовут добровольцев, предупреждая их, что в степи нелегко. Интересно.

* * *

Все, с кем ни говорю, от генерала до старшины, по-разному, но с гордостью говорят о Кушке и просят разбить миф о ее ужасах. Хотя мне кое-кто и говорил, что сидел на гауптвахте за отказ ехать туда. Это слюнтяи, любители удобств и денег.

Учеба идет всюду. И это чувствуется во всем.

7 июня, казарма

Первую ночь провел в казарме. Вечером после разговора с лейтенантом Чепуриным, ладным, в портупеях, в приспущенных гармоникой сапогах, длинноватым и широкоплечим, ровесником, мало воевавшим, но очень полюбившим воспитывать солдат, прошел по пустым еще казармам. На крыльце одной из них играл на аккордеоне солдат, а вокруг пели. Я решил, что аккордеон — это трофей войны.

Нет, оказывается, сержант с 1944 года копил деньги, чтобы приобрести эту музыку. Теперь ночью, когда я вернулся, он еще перебирал лады.

— Что делаете?

— Учусь. Днем времени не хватает.

Его отправили спать. Он урывками учится. Так и старшина Михеев, в каптерке которого я спал, мечтает выучиться на шофера, хотя танки всех мастей водит. Танки и машины, война и мир — вещи разные.

Неожиданно быстро разговорился со старшиной Михеевым и сержантом Аржановым — сибиряками, хорошо повоевавшими. Они о себе подробно рассказали: как нужны их руки дома, как затянулась служба, но... но международное положение не позволяет! И о новобранцах. Пришли новички.

Михеев рассказывает:

— Я до тысяча девятьсот сорок седьмого года не знал, что такое увольнение в город. Все в землянках да в пути. А их как на курорте встречали.

В этом рассказе нет неприязни, есть гордость за путь фронтовика и в то же время понимание того, что армейская жизнь меняется: главное не воевать, а воспитывать.

О себе, уже когда легли, он хорошо рассказал: как приехал домой, как бросил вещи у знакомой и двадцать пять километров шел по болотам, по грудь в воде, шел семь с половиной часов, потому что забыл дорогу. На вечерке в селе (за Омском, вверх по Иртышу) его не узнали — родная сестра не узнала, мать в обморок упала.

И Аржанов говорил, как девушки подросли, как ровесницы стали женщинами и матерями.

Вопрос «жди меня» и сейчас важен для солдат.

Офицер, как учитель, по фамилиям должен знать солдат, сержантов.

Начинается день в батальоне.

Развод на занятия.

— Здравствуйте, товарищи курсанты (солдаты)!

— Здрав желаю, товарищ майор!

И эхо все точно повторяет. Стоят бойцы в панамках, сержанты в пилотках. С медалями, орденами.

С утра, часов с пяти (подъем в 5–6), знакомый стук шагов, команда: «Выше колена!», «Песню!» — и песни, ладные, бодрые, в еще не окрепшей жаре. Утро прохладное.

Занятия по теме «Великая Отечественная война». Четко, грамотно отвечают курсанты. Может быть, мне кажется, но они и лучше нас (в 1941 году) учатся, и четче у них шаг, и сложнее песни. Наверно, кажется.

Строй с песней производит на меня неизгладимое и сентиментально-располагающее впечатление.

Михеев — очень хозяйственный, глубоко порядочный, и это у него в крови. Так армия укрепляет сильных людей: их «заграница» не могла погубить.

— Посмотрите на соседние казармы — стыд. А мою побелили, крышу саманом сам залатал.

О брате, который бросил жену с детьми и ругает мать:

— Я ему написал, что ты ведь мне теперь за отца и должен учить жизни, а сам что делаешь?

На войне братья Михеевы списались и решили встретиться, но, проехав по параллельным шоссе — Берлинскому и Бреславльскому, разминулись.

Рота выходит на марш.

Напевая, солдаты, чистят, протирают оружие, лопаты.

Потом их строят, комроты объясняет задачу: кто плохо обут, здесь же на земле переобувается, перематывает портянки. Комроты спрашивает:

— Больные есть, освобожденные? Шаг вперед!

Но, как на войне, с первого раза никто не выходит, хотя до построения кое-кто роптал, жаловался. Но вот один за другим выходят несколько человек. Я жду, что выйдет левофланговый, худенький, в больших сапогах. Но он не выходит. Вышли довольно сильные хлопцы: у одного прокол ноги, у другого малярия. Вот это первый шаг слабоволия. Помню, как я заставлял себя не делать этого в походе в 1941 году.

Но вот ряды еще раз сдвоены — и рота выходит.

Марш начался.

Пыльный большак и усыпанная галькой проселочная дорога. Степь и песок, и пшеничные, уже созревающие массивы. Рота идет повзводно, на привалах заваливаются в кюветы, в ямы, задрав ноги, или садятся в колючие зеленые кустики. Жара. На привале — мне, пожалуй, даже не поверят — старший сержант Алексей Минин достает томик А. С. Пушкина «Драмы» и начинает звонко вслух читать из «Бориса Годунова». Рядом сидят его дружки, старослужащие, им, ходившим на войне по 150 километров, этот марш — орехи. Они улыбаются, слушают.

В каптерке сладковатый запах махорки.

Вывесил на стенку старшина свои ордена и медали.

Вместо пепельницы — гильзы от снарядов, панцирь черепахи — трофей пустыни.

Разговорился с сержантами. Хорошо знают Твардовского. Сержанты воевали; тут и хохол Лавриенко, и тяжеловатый, с Азовского моря,

Бедный — поэт, частушечник, образованный. В своем углу, чуть отделившись от курсантов, они читают вслух Чехова и хохочут.

Старшина Михеев великолепно командует ротой, но как солдат уже перезрел — томится без дела, часто спит, просится в отпуск. Такой же Аржанов — писарь роты, воевал. Это нормальная реакция фронтовиков, прослуживших долго, но не считающих военную специальность своею навсегда.

8 июня

В 6.30 урок по вождению танка. На ровной пыльной площади туркмены объезжают скаковых коней. Кони привыкли к танкам. Курсантов учат — плавно, не рвать; регулируя газом, начинать движение. Они ходят по кругу. «Любишь кататься — люби и таночки водить!»

Караульный Крутовский читает «Рудина». Как это ни странно, классическая книга крепче дружна с армейцами, именно дружна — она не выходит из взвода, из роты: Чехов, Пушкин, Тургенев. Новинка прочитывается и, если даже запоминается, вылетает из подразделения, не задерживается.

Опять вел беседу с курсантами. Ребята они хорошие. Говорили о том, что трудно привыкать к военной службе, о том, что девушки не дожидаются. Вот у курсанта В. жена уже вышла за его товарища. Потом вели разговор о том, что есть и хорошие жены, девушки...

На стрельбищах среди увалов, песчаных и лёссовых осыпей и бугров стоят машины. Стук автоматов, звонкие выстрелы из карабинов, которые больно отдают в плечо. Солнце палит невыносимо. Ребята стреляют, повторяют положение о стрельбах и условиях. Почти все увлечены, краснеют промазавшие.

9 июня

Сейчас вернулся из отпуска рыжий курсант Либубер. У него умер отец. Он говорит дневальному:

— На заводе меня так приняли! Отца хорошо похоронили, и памятник хороший.

Было бы странно, если бы было по-другому.

В армии любят веселых и справедливых командиров, понимают острое слово. Взахлеб рассказывали мне сержанты М. Шевцов и В. Бедный — добрые фронтовики — о своем командире полка, который когда-то был старшиной в роте И. Е. Петрова. О его прибаутках и речах на разводе и поверке.

* * *

Ехал на самоходке. Ее вел курсант Лобода. Он волновался, все время говорил:

— Тушуюсь, а теоретически знаю.

Он рвал с места, не мог регулировать газ. Пылища дичайшая — в переднем люке стоит солнечным столбом, как в соборе.

* * *

Дружба у старых солдат — отличная, веселая, подшучивают друг над другом.

* * *

На Украине тактические занятия — отдых: природа какая! А здесь пески — выйдешь, и сразу язык на плечо.

10 июня

Сегодня с утра поверка. Марш со знаменем, стрельба, строевая, устав.

Старшину собирают в отпуск. Старший сержант Шевцов дал ему свой гвардейский значок и орден Славы. У того утеряны. Дают чемодан, идут провожать.

* * *

Когда к Шевцову приходит в гости его старый друг из другой роты, он читает ему что-нибудь из Чехова и заразительно смеется.

Я, как старик, умиляюсь ребятам. Мне будет трудно с ними расставаться — какие они разные, развитые, сильные и веселые.

11 июня

С утра на стрельбищах. Лагерь палаточный, недалеко от города. Артиллерист — старший лейтенант, который экстерном окончил два курса юридического факультета, вел стрельбу из орудия по «танкам». Это макеты — циновки из камыша на металлическом каркасе и салазках, которые подтягивают на тросе, наматывая его на колесо

машины. В пустыне еще не выгорела вся колючка, зеленые кустики, песок, жаворонок висит, восходя вверх и бросаясь вниз... Я смотрел в стереотрубу: как в фотоаппарате — ясно, четко и близко весь пейзаж и мишени. Потом поехали на полигон, где учатся пулеметчики. Почти все танкисты. Брали Берлин. Танки идут, пыля, стреляя из орудий и пулеметов. Носков говорит, что пять лет тому назад они боялись выехать в барханы — их напугали, что в песках от жары умирают в танках.

Танки возвращаются, гремят. Рядом бьют ручные пулеметы. Жаворонок не унимается. Еще стоят столбы пыли после разрывов. Кажется, что война не прекращалась.

Двенадцать верблюдов. Ведет их один старик на ишаке. Саксаул укреплен двумя связками с боков. А рядом танки.

12 июня

Туркменский дождь — пыльные столбы до небес.

Как дети, солдаты несут мне по вечерам альбомы с фотографиями — из дома и уже армейскими. Скуластые братишки, сестры, девушки с косами, курносые.

Просто, не стесняясь, дают кипы писем.

Старшина Саргантаев из Зайсана, татарин, аккуратный, маленький, подтянутый. Он ведает учебными классами. Хочет учиться дальше. Хороший знаток танка.

— Техника идет вперед. Все учатся. Приеду домой, пойду учиться. Мы в армии ставим вопрос о вечерней школе.

Взвод пришел с учения — соль на гимнастерках выступила.

Солнце нехотя сдает пост молоденькой луне, дает наставления, указания.

Крутовский — курсант, 1928 года рождения, из Талды-Кургана. Кончил семь классов, учился 6 месяцев на сапожника, стал мастером, и появились свои ученики. Отличник круглый. Примерный, уважаемый солдат. Учится легко, но привыкать было трудно, да и заинтересованности не было. Занимается прилежно и много, а в первые дни казалось, что не хватает времени. Он сидит рядом, стирает гимнастерку, погоны. Конечно, ребята многие смеются над маленьким лопоухим Крутовским, но он себя в обиду не дает. Машины, старые танки зовет ласково «лайбами» или «гробами с музыкой». Хочет быть офицером.

В армии «заочницами» называет девушек, с которыми переписываются, не зная их.

Крутовский говорит, что он письма девушкам пишет в стихах.

14 июня

Венедикт Бердюгин из Семипалатинска. Его дядя — шофер Павел Тарасович Плоскочев, брат матери, — служил здесь же, в краснознаменной кавалерии в 1928 году, жил в той же казарме. Там, где теперь танковый парк, были конюшни.

Урок по электрооборудованию ведет лейтенант Безукладников. Ясно, что такие предметы расширяют кругозор молодого паренька из села, из захолустья. Электричество идет в танки для запуска, для освещения, поворота башни, для спуска пушки и пулемета, для вентиляции, для связи. Курсанты дремлют, и лейтенант неожиданно командует: «Встать!» Они встают, садятся, и сонливость исчезает.

15 июня

В песках — как в доменной печи.

На саженцах — маленьких, худосочных — привязаны бирки из фанеры с фамилиями солдат, посадивших деревца.

16 июня

В 5 часов заехал генерал. Дорога. Снова с утра стрельба. Пустыня еще не раскалена, поют жаворонки, как в степи. Пахнет травами. Гвардии старший сержант А. Киноти, наводчик В. Лавриков стреляют по танкам прямой наводкой. Попадания отличные. Гремит орудие, облака взрывов заслоняют танки, которые плывут по увалам.

Офицеры бегут к мишеням — они увлечены, веселы. Это энтузиазм бывалых солдат.

В 5–6 часов в пустыне прохладно, в 7–8 начинает припекать, а потом в палатке 50 градусов и выше, как в домне, как в бане.

* * *

Всю ночь в палатках идет обсуждение дневных стрельб. Непосвященному непонятно, что значит: «клюнул снаряд», «стрелял с минусом», «стушевался наводчик».

Танк вел курсант. Он засел в яму, основной водитель прибежал — ему жаль родную машину. Человек с танком, как и весь экипаж между собой, необычно дружны — семья... Лязг гусениц, рев моторов.

* * *

Танки плывут по пескам, покачиваясь, как на волнах, на сыпучих ребристых барханах. Покачиваются и пушки, как хоботы. Песок густой пеленой, как дымовая завеса, застилает всю машину до башни, забивается в люки, во все отверстия.

22 июня

Прибыл в Кушку, которую знал по школьной географии. В долине, зажатой холмами, лежит поселок Кушка, дома — по холмам, холмикам, увалам. Я уже слышал о всех достопримечательностях — хорошей воде, кресте в честь 300-летия дома Романовых, холодных ночах, ветре-афганце.

Командир части — рыжеватый, худощавый — ходил по саду (возле штаба). Это сад будущего — пока там только саженцы урюка да трава по колено в воде. Урючины посадили в этом году. Здесь же есть участок, буйно заросший карагачем, акацией, вербой, кленом, тополем. Это питомник. Озерцо сделали, в нем купаются солдаты, вода проточная, чистая.

Говорят, Куприн писал здесь «Поединок». Если это не так, то любопытно как народный слух, молва.

23 июня

Был на строевом смотре. Сразу бросается в глаза разница с танковыми подразделениями. Здесь больше простых крестьянских парней. Командир и его замполит чем-то похожи друг на друга, как жена и муж после долгой совместной жизни. Пели «Взвейтесь, соколы!». Маршировали под оркестр, и я чуть не прослезился, когда шли за знаменем, чеканя шаг. Что с нервами? Конечно, у пехоты вид бедный, незащищенный. Пехоте трудней — меньше лоска, достатка, уверенности...

«Гарнизону и рабочим депо крепости Кушка.

Президиум ЦИК Советов ТССР, отмечая боевые заслуги бойцов и рабочих крепости Кушка, с беспримерным героизмом отстоявших в период гражданской войны от натиска белогвардейцев крепость Кушка, оказавшуюся в то время, с падением Мары и Байрам-Али, советским островком в тылу у белогвардейцев; не поддавшихся авантюре белогвардейских парламентариев, прибывших в крепость Кушка с целью достигнуть соглашения для извлечения из крепости всего боевого снаряжения; сумевших, имея всего 30 человек гарнизона, с десятком рабочих депо под ближайшим руководством бывшего генерал-майора Востросаблина отбить атаки белогвардейцев на крепость и спасти военные богатства крепости Кушка, впоследствии

использованные для снабжения частей Красной Армии всего Закаспийского фронта, награждает гарнизон орденом Трудового Красного Знамени»...

* * *

Казах-минометчик увлеченно рассказывает о стрельбах, о том, как командир его похлопал по плечу и сказал: «Молодец», о том, что командир ему обещал отпуск. У казаха сердитое скуластое лицо, а парень он отличный, милый.

24 июня

Читаю «Поединок» Куприна: какая пропасть между прошлым и настоящим отдаленных гарнизонов, какая разница — в основном, в сердцевине, хотя детали повторимы.

* * *

Бич Кушки — южный ветер-афганец. Он, как по расписанию, дует с одиннадцати часов до четырех. Песок, поднятый ветром, закрывает солнце, в походе приходится надевать противогазы, спать, завернув голову в шинель, утром трудно вылезти — столько намело песку.

Бывает, что, попав в смерч, солдаты отбиваются от колонны и вынуждены ночевать в пустыне.

* * *

Ездил в лагерь. В палатках оставлены земляные «кровати» — нары, насыпи, на них циновки из мяты, полыни, а поверх — полная постель. Низенькие, чуть повыше палаток, топольки, вербы прикрывают от песчаных дождей; вода подпочвенная неглубоко, и она идет на умывание. Все устроено очень любовно: погребок для питьевой воды, клуб, спортгородок. Здесь живут артиллеристы.

Снова мне говорил один подполковник, что Куприн жил здесь, писал о том, как один офицер выкатил пушку на высоту и бил по дому, где наслаждался его соперник.

Сейчас в армии необычайная страсть к книгам (в основном к прозе). На каждом шагу встречаешь солдата с книгой — под машиной, в танке, у палатки в лагере, после нарядов в постели. У библиотеки стало в

несколько раз больше читателей, читальный зал не вмещает всех желающих.

* * *

Бассейн, который стал гордостью всех кушкинцев, выстроен комсомольцами, и его полушутя-полусерьезно называют комсомольским озером.

* * *

Косолапов — хороший командир и самый примерный читатель. В его формуляре записаны: «Эконом. география», «История СССР», Шолохов, Вирта, Гончаров «Обрыв», Симонов «Рассказы», Гроссман «Степан Кольчугин», Коновалов «Университет», Лесков и Гашек, Павленко «Счастье» и «На Востоке», Л. Толстой и О. Форш.

* * *

Сегодня воскресный день: футбол, костер и открытие пионерлагеря, соревнование по плаванию, обсуждение романа «Сталь и шлак», в театре — «Коварство и любовь», в кино — «Лермонтов», в парке — танцы, в бассейне — купание.

Воскресный день кончился «Коварством и любовью» в клубе и костром в пионерском лагере. У костра дети пели, танцевали, много декламировали. Как всегда, конца у программы не было, потому что все юные кушкинцы хотели показать себя в разных жанрах. Толстый мальчик Виля Харитонов читал Пушкина, потом Крылова, потом пел песни из кинофильмов, потом держал ноты своего товарища-скрипача, который меня утром в парке остановил вопросом:

— Скажите, пожалуйста, в Москве есть соленоидный поезд?

— ???

И снова я вспомнил Куприна! Как мы в дальних заштатных гарнизонах резко ушли вперед, особенно в культурной жизни офицеров, их семей и солдат.

Вечером шла кинокартина. Оркестр играл в парке.

В этот же день футбол закончился со счетом, 2:0 в пользу пехотинцев Андреева. По местному радио передавали большой концерт самодеятельности, и я читал стихи.

27 июня

Сюда переселился еще дед солдата Давиденко из Черкасского района, а отцу было тогда 12 лет. Двое сыновей остались, но один (то есть дядя) вернулся домой. Речка была узенькая, 50—100 метров, а теперь — 300; вся была в камышах, кругом — колючка. В 1918 году Сливицкий и фон Шульц бежали в Афганистан, генерал Востросаблин остался у красных. Наступал на Кушку Зыков с бандой из Тахта-Базара. Моргунов — телеграфист на станции — возглавил реввоенкомат. Его расстреляли, и теперь в честь него Моргуновка. Был здесь эшелон сипаев, но ушел. Запасы в Кушке были большие, на пять лет. В Кушке, Моргуновке (тогда Алексеевке), в Полтавке были добровольческие отряды, дети и старики стояли на сопках, наблюдали.

Председатель колхоза «Труд» — Сергей Васильевич Давиденко — родился здесь, это уже третье поколение здесь, на юге. Есть уже дети — четвертое поколение.

28 июня

Крепость Геок-Тепе брали генерал Скобелев и полковник Куропаткин в 70-х годах. Под стены подводились фугасы. Теперь эти стены на южной стороне похожи на дувалы с окошками — низкие глиняные заборы.

* * *

За окнами вагонов весной шевелятся пески — идут стада черепах. С первой жарой они до осени зарываются в песок, ища прохлады.

* * *

Утро начинается игрой оркестра, зорей горнистов, топотом по плацу.

* * *

Рядом Индия, хребет Гиндукуш. На машинах приезжают иностранцы, берут бензин, покупают сахар, ткани и др.

Южный ветер, очень быстрый, идет из Индии.

* * *

Барханы увязаны травой салин — с длинными кривыми корнями.

29 июня

Только мы отъехали, в вагон вошел Давиденко и, как со старым знакомым, улыбаясь, поздоровался со мной, потом с достоинством подал руку генералу:

— Председатель колхоза Давиденко.

И этого здесь не могло быть когда-то, чтобы поселенец или внук поселенца «ручкался» с генералом из Ташкента.

Разговорились. Поезд набрал скорость. Давиденко оживился и потянул нас к окну.

— Вот это наш ячмень молотят. Хороший ячмень. Вон там виднеется наша пшеница. А там животноводческий хутор.

Поля колхоза от афганской границы тянулись в глубь страны...

Вечерело. Сопки, которые в этом месте подходили вплотную к дороге, темнели. Солнце заходило за них, как за дувал. Потом показался тоненький бледный месяц, даже не серпик, а скорее серьга из девичьего ушка. Саксаул, казалось, отряхнув пыль, как и люди, задышал легче. Жара спала.

* * *

Светало. Над буро-зеленой степью обнаружилась багровая полоса, как отсвет далекого пожара. Полоса росла и неожиданно стала огненным шаром, вырвалась в небо. Рассвело. Пустыня еще не раскалена, она обманчиво прохладна, но через пару часов...

1 июля

Ровно через месяц снова в Ташкенте. Прилетел за три часа. Внизу, под самолетом, пески, пустынные горы, высохшие реки. Потрясающее зрелище: кажется, что летишь над рельефной картой из папье-маше или замши. Песок разного цвета: оранжевый, желтый, серый, бурый. Есть полосы черные, есть темно- и светло-зеленые (это посевы или кустарники у арыков). Белеют солончаки, правильными кубиками попадают дома. Пустыня очень ощутима, выпуклая, резко пересеченная дорогами и реками. За Сырдарьей начинается оазис, защищенный горным хребтом. Много зелени, ровные лесозащитные посадки над арыками, много воды: озера, бассейны, хаузы, реки, ручьи, болотца. Ташкент с высоты город большой, но разбросанный и невысокий. Зеленый.

Вчера в последний раз виделся со знакомыми ребятами. Они вернулись со стрельб, стреляли, метали гранаты, почти все выполнили, общий балл «отлично». Встретили меня как родного. Майор Кальченко рад, что его курсанты хорошо занимались. Курсанты и сержанты подзагорели, похудели, но бодрые и крепкие. Жара невыносимая в песках, спали под небом, не боясь фаланг и зем-земов (огромных ящериц). Прохладно было к утру. Шевцов запустил бородку (по фронтовой привычке). Его называют Вершигора. Шевцов снова с Чеховым. Взял 4-5 томов и блаженствует.

Рассвет в 6 часов начинается петушиной какофонией, в которой можно уловить правильное «кукареку» способных кочетов. Потом начинают трубить ишаки и маневровые паровозы. Солнце выходит уже после этой увертюры. Идет оно не спеша, как избалованный публикой актер. Утром в пустыне, да и в городах предпустынных прохладно, и не хочется верить, что через пару часов начнется форменное поджаривание живых людей. На песок босой ногой не ступишь и с непокрытой головой не выйдешь.

10 июля

Шел с И. Е. Петровым от штаба. Говорили о Кушке. Он там с Курбаткиным провел 1931 год.

— Это было золотое и горячее лето.

К Кушке Петров неравнодушен. Подробно рассказывает о ней и расспрашивает.

Сад у него, или, вернее, цветник, большой.

— Сам вырастил старые яблони и посадил цветы: розы, гладиолусы. Здесь же лимоны в кадках, зреет виноград.

Его адъютант подражает ему и в этом. Он тоже водил меня по маленькому дворику вокруг одной урючины и сливы.

Петров — человек. Приятно, что о кушкинском ловеласе С. — на мое о нем отрицательное замечание — сказал:

— Терпеть не могу — подхалим.

Фамилий и географических названий знает тьму...

2 октября 1950 г.

Полковых оркестров перезвон
Будит на рассвете гарнизон.

Выгоревшее за лето обмундирование заменено перед осенним смотром новым, еще корябщимся.

Фронтовые солдаты и офицеры настроены по-боевому. Военный заряд не пропал до сих пор, передавшись лучшим людям из пополнения. Армия у нас сейчас в полном порядке. И если нас тронут, то держись! Разговор о борьбе за мир. Старший сержант Бедный — здоровяк, фронтовик — жалеет, что мы не можем поддать американцам в Корее.

Однообразие армейской жизни, распорядка быстрее и эффективнее закаляет человека. Писать можно и об однообразии, которое в армии обретает поэзию высокого, напряженного и благородного труда.

Сержанты и старшины роты сколочены в крепкую и дружную семью со взаимным уважением и помощью, с прощением грехов и т. п. Без них офицер не может наладить работу во взводе, в роте, в батальоне.

3 октября

Трудно иногда сегодня в офицере увидеть героя недавней войны. Вот простоватый на вид Р. У него 6 орденов, он герой Днепра, Курской дуги, его в упор расстреливали немцы, он командовал группами прорыва. А теперь белит склад и т. п. Вот культмассовый инструктор Жук. У него орден Славы, он был смелым солдатом, старшиной, замполитом, а сейчас заворачивает самодеятельностью и ходит фронтовой походкой, не сгибая коленей. А ведь Р. воевал на Хасане и на Халхин-Голе. Да и Жук нюхал порох. А вот внешне и даже после нескольких разговоров героев в них не узнаешь. В этом прелесть и сила нашего народа и особенно солдат.

Многие офицеры еще не хотят понимать трагедии первых лет войны и того, что мы плохо готовили народ, мало ему говорили о тяготах войны, о тяжести боев, о силе нашего противника. Теперь поэты и прозаики только так и должны воспитывать народ.

* * *

Шевцов и Бедный служат уже подолгу. Удовлетворение от службы в одном: из неотесанных ребят их стараниями на глазах получают опытные солдаты, молодые гвардейцы, как зовет их Бедный.

4 октября

Пришел в батальон, где жил прошлым летом. Почти все сержанты и офицеры на месте. Снова, как в 1949 году, трудно без волнения смотреть на солдат, на знакомых ребят уже с гвардейскими усами, с начищенными медалями и орденами. Они готовятся к проверке.

Я снова в каптерке. И ребята те же: старшина Шевцов и Сартантаев, старший сержант Бедный и Трясучев — из бывших курсантов, сержант Яценко. И разговоры о поэзии, о том, как ее критикуют. Они следят за всем очень внимательно.

В каптерке играет патефон — премия роте за самодеятельность, играет — и от этого становится грустновато. Шевцов и Бедный приняты в партию и остаются на год сверхсрочно. У Михеева и Минника — дети и жены. Много за год утекло воды.

Шевцов рассказал, как на полевых учениях по ночам было холодно спать в песках. Солдаты копали неглубокие ямы, жгли на дне колючку и, потом, укрывшись с головой плащ-палаткой, спали, как на печи, выгребая сначала золу.

Приятно смотреть на коренастых, в хорошо подогнанном обмундировании солдат призыва 1948–1949 годов, которые не нюхали пороха. О них фронтовики уже начинают говорить с уважением. Так выковывается новый тип солдата мирного времени. Он служит рядом с воевавшим — под его влиянием, подражая ему. Тот, кто падал под фугасными бомбами, атомным не молится.

Ткачев был год тому назад приспособленцем и ловчил. Он делал из фанеры чемоданы для солдат, словчил на баян и т. п. Теперь его не узнать. Он старшина.

Михаил Шевцов ночью дважды читал поэму. Впервые я услышал, что надо было еще побольше написать о строевой, физподготовке и т. п. Он чудесно рассказывал, как приезжал в Дзауджикау к девушке, которая учится в пединституте и с которой он уже знаком третий год, правда, больше по письмам. Переписывается он с ней часто, а вот виделся всего два раза. Искал ее, нашел в общежитии. Зовут ее Любовь Кошечкина. Она блондинка, веселая, из соседней станицы на Лабе, где-то под Армавиром. Шевцов рассказывал с чудесными подробностями о том, как приехал в город, как поселился в гостинице, как надел мундир (без ремня), как надраил сапоги, ордена и медали и пошел искать свою любимую. Как нашел ее в общежитии, как высыпало в коридор много девушек и он боялся обознаться, броситься не к ней, как по смеху узнал свою Любу, как вошел к ней в комнату, как она готовилась к экзаменам по литературе — читала Белинского, Чернышевского, Тургенева. Как ждет его и т. п. и т. п. С чудным юмором, с целомудрием бывалого солдата, откровенно, не стесняясь, как очень честный и здоровый человек, рассказывал он всем о своей любви.

Приходили к нам старшины, офицеры, солдаты, а Шевцов все рассказывал и рассказывал, и всем было очень интересно слушать о любви двух хороших молодых людей. И похабники терялись, и юноши светлели, и мне казалось, что самая лирическая поэзия рождается на пыльном армейском дворе.

Шевцов своей девушке подарил набор духов, букет цветов, конфеты. Он ее еще даже не поцеловал. У него во взводе был художник, тот нарисовал девушку с фото.

Шевцов писал ей обо мне, о «Дальнем гарнизоне». Она прочла. Я ей написал о Шевцове, пусть бережет любовь. Он читает гораздо больше и активнее почти всех офицеров своей роты.

5 октября

Сегодня весь день просидел с солдатами в казармах. Снова, как год назад, листал альбомы у Сартантаева с заглавием «Год моей службы», у Шевцова — с фотографиями знакомых девушек и открытками. Разговор вился вокруг любви, семьи. Шевцов очень любит детей. Во всех смыслах это положительный герой романа о солдатах после войны.

Солдат не хочет воевать,
Не потому, что слаб,
Не потому, что без него
Войну придумал штаб.
Солдат не любит воевать
Не потому, что трус, —

но если его вынудят воевать, он будет драться героически и бить наотмашь. Но если придется воевать, то уже наверняка рядом с фронтовиками, всегда готовыми воевать, воспламенятся и молодые, завидующие старым солдатам, повидавшим Европу и Азию.

10 октября

Ночь в сборах. Все на машинах, с частыми остановками вытягивается из города колонна.

Рассвет в горах, похожий на осенние горы Крыма: пестрота листьев: желтых, красных, зеленых; орех и акации, густо запыленные у дороги. Дорога — серпентином — вьется с трудными изгибами. Трава выжжена, стерня колючая, горы с каменными осыпями, с мягкими складками.

11 октября

Солдаты в выжженной степи, в развалинах глинобитных кишлаков, занимают оборону. На спине спят стрелки, солнце печет сонных и спящих. По пыльному полю, по корявой пашне с высохшей стерней

тянут связь. И вдруг в этой так напоминающей войну степи лейтенант кричит:

— Рядовой Матросов!

Я вздрагиваю. И однофамилец великого мальчика с огромным вещмешком, с карабином, скаткой, флягой бежит к своему командиру.

Темнеет здесь, в долине, окаймленной горами, необычно быстро. И слышны на пашне, где разместился полк, голоса:

— Соколов! Где ты?

— Куда идти, Андреев?

— Мамаджанов! Где ты?

И вдруг знакомый голос Чапаева, и на маленьком, как освещенное окно, экране возникает фигура знаменитого полководца. Это солдаты крутят «Чапаева».

* * *

Мы спим на машине, разувшись, укрывшись шинелями, рядом незнакомые танкисты. Ночью пылят рядом танки. Приподнимая с лиц шинели, солдат ищет какого-то Новикова. Так проходит первая, холодная к утру ночь в поле.

Пришел майор и сказал, что в Корее бои идут уже севернее 38-й параллели. И стало еще яснее, еще значительней учение в этой проклятой выжженной местности...

* * *

Часть живет размеренно, но, как всегда, в обороне, до подхода «противника», лениво, без энергии, без динамики. Горячий чай из котла, из железных кружек, на подножке вкопанного в пашню пыльного грузовика; солдат — на скатке, с автоматом, заснувший с ходу на пригорке под палящим солнцем; как это все томительно знакомо и напоминает юность, лето и осень 1941 года. Я сразу привык к портянкам и сапогам, к шинели и гимнастерке. Видно, военные привычки на всю жизнь! Неплохо и это.

Здесь, в степи с сухой стерней, желтой и колючей, насыпаны могильные курганы, ровные, куполообразные холмы. На вершине кургана — КП комбата. Комбат, окончивший академию имени Фрунзе, вел авангард. У него порядок. Он ясно и властно дает указания своим офицерам, объясняя ориентиры, давая сведения о «противнике», соседях. По карте засекаются населенные пункты, лежащие по пути следования. Все как на войне. И разговор ведется о Средней Азии, о борьбе с басмачами за колодцы.

На кургане дует проклятый резкий ветер. Начштаба растолковывает комроты обстановку:

— Мы имеем дело с «сильной армией»...

Вот это уже правильная постановка вопроса. 1941 год не должен повториться.

В батальоне молоденькие прилежные солдаты — служат по три месяца — рождения 1929–1930 годов. Старослужащие считанные, 6–7 человек. Эти с лентой учатся, но загораются, когда пахнет боем, походом. Новобранцы старательно окапываются, переползают, бегут на вызов. Они еще не солдаты, но уже и не штатские. Постепенно трудная служба, пустыня и жара делают их бойцами.

Плохо, что в воспитании солдат отсутствует военная романтика. Вот ведь романтикой гражданской войны еще до сих пор живет училище имени Ленина в Ташкенте. Нужна новая романтика. Гордость быть сильным и смелым солдатом решает исход боя.

На дне оросительного глубокого арыка, как в окопах, разместились пушки, стрелки, пулеметчики. Я иду за связным — молдаваном. Вот артиллеристы читают книжечки из библиотеки «Советского воина», читают газеты, все это им принесли книгоноши.

Разговор о демобилизации. Ярошенко с другом собирается уходить. Уходят и другие, они, как Шевцов, не боятся начинать все сначала. А тот немного грустит.

Лейтенант Батрадинов — пулеметный взвод — учится заочно в институте иностранных языков.

Хлопок в этом году небывалый. Высокий, густо запыленный, особенно у шоссе, он доставляет много радости солдатам-узбекам.

В коробку от мины писарь складывает бумаги штаба. Сверху всех бумаг, папок, уставов он кладет книгу Тургенева «Новь», которую читает в свободные минуты.

12 октября, 5 часов утра

Подняли батальон в 4 часа, торопили солдат во тьме. И вот уже смех, стук лопаты о лопату. Батальон живет веселой жизнью молодых, здоровых людей. Где-то режут моторы машин, которые готовятся повезти пехоту в «бой».

Вчера у НП снова для батальона давали «Чапаева». Почти всю картину многие знали наизусть и заранее повторяли хором слова Чапаева, Фурманова. Правда, многое уже казалось сейчас, да еще в армии, в поле, неправдоподобным, но вся картина — шумная, честная и поэтическая — волновала нас. И снова вызывают смех слова Петьки:

— Тихо! Чапай думать будет.

И снова хочется плакать, когда тонет Чапай. В степи, в темноте особенно остро чувствуешь и жизнь, и героизм прошедшего, и предстоящую трудовую жизнь.

Томительное ожидание, и вот после марша — «бой». Старые солдаты нервничали на походах:

— Разве это война!

— Почему остановились на горе?

И вот по пашне под зябь бежит пехота — пушки, пулеметы.

...Мы лежим на переднем крае с пулеметчиками. Рядом рядовой Матросов. Его спрашивает пулеметчик Чемурханов:

— Будешь сегодня закрывать своим телом амбразуру?

— Вот кухня приедет, закрою.

Все смеются.

* * *

...Местность: перевалы и долины, поросшие полынью, сухой колючей травой, ковыльком. Между перевалами — пашня, крупно перепаханная земля.

Кишлаки — глинобитные, на выгоревших склонах. Кажется, что здесь прошла действительно война. И столбы черного дыма, и стрельба из карабинов и пушек, и запах пороха — все это в кишлаках создает впечатление войны. Пушки извергают с пламенем гул; крик, потные лица пехотинцев, чумазных танкистов.

Картинно по буграм, по черным полям идут танки, и в облаке дыма и пыли бежит в атаку пехота.

Степь выжжена под пашню. Она вся в черных пятнах, как пантера.

* * *

...Небо в легких розовых и лиловых полосах, матовое и спокойное, как на картине. В степи прохладно, в падях уже стелется туман. Темнеет, расплывается лиловый тон и исчезает розовый. Молдаванин Бумбак лежит рядом со мной и говорит о том, как трудно ему было в первые разы бегать по этим холмам с ручным пулеметом и как сейчас легко и просто.

Я все время, глядя на солдат, думаю о том, что мы мало даем им романтических книг об армии. Ведь как волнует их то, что генерал Петров был комроты, а полковник Денисов — старшиной у него. И вот же выросли оба! Вот он, жезл маршала в ранце солдата. Об этом нужно писать.

13 октября

Сегодня затишье перед наступлением. Еще затемно, часов в пять, раздавалась стрельба на передовой. Это разведка «противника» пыталась пройти в наши порядки. Встаем с машины, где спали, и сразу же пьем горячий чай. Кухня с кашей заблудилась на курганах...

14 октября

Жара и холод, холод и жара — вот распорядок туркменских суток.

Сегодня наступление. Днем мы во втором эшелоне. С НП наблюдаем «бой» первого эшелона. Стрельба, разрывы. Столбы дыма и пыли, гул самолетов, идущих в пике, создают обстановку боя. И вот уже издали видна пехота, атакующая за танками обороняющегося «противника».

Пехота любит идти на танках. Машины наши по бездорожью жмут, как в сказке.

Город Н. Мы должны его «брать». Он — простой районный городок — кажется нам чудесной столицей. Когда в движение приходит машина, военный дух поднимается у всех людей.

По берегам узкой и быстрой реки глинобитные кибитки и дувалы, ишаки кротко пощипывают траву, и над всем этим пыльным захоластьем курлычат журавли, улетающие в теплые страны. От всего этого очень грустно.

15 октября

Вчера вечером приехал в лагерь руководства. Здесь — рай. Чистые постели, отдельные палатки и прочая прелесть. Сейчас снова выеду в поле и снова увижу запыленных и усталых, но бодрых и задорных солдат. Да, только преодолевая трудности (гигантские по своему разнообразию и количеству), солдаты становятся настоящими воинами, и только так нужно об этом писать.

Мне сказал вчера один капитан-туркестанец:

— Правильно вы написали: «По колено пыль, по пояс пыль, по грудь».

Эти слова мне дороже многих речей «за» или «против».

Слаженность, которой не было в первые дни, появилась молниеносно в день «боя». Напряжение и задорный азарт заставили действовать всех умнее и проворнее. И вот уже хриплые голоса радистов, передающих закодированные приказы: «Вольфрам, Вольфрам, я — Вережка, выполняйте 333». И в двух километрах от радиста моментально снимаются с места танки, неимоверно пыля, как в

дымовой завесе. И за танками бежит пехота, и навстречу с криком «ура» — контратакующие «южные».

Современный бой механизирован до предела. И вот, уже заняв линию обороны, преследуя «противника», пехота грузится на машины и по горам и по долам мчится вперед. И НП на «газиках», вездеходных и устойчивых, перемещается быстро вперед. И все начинается снова.

* * *

В Корее плохо. Американцы перешли параллель. Пахнет порохом, и поэтому с еще новой силой встает вопрос о литературе, посвященной послевоенной армии. Об этом надо писать и говорить, чтобы не оказаться в неоплатном долгу перед народом.

Наблюдаю «бой» с господствующей высоты. В стереотрубу и бинокль видны танки и пехота, которые обтекают город Н., сбивая обороняющихся. И снова за танками бежит пехота, которую теперь уже подвозят машины. И снова подтягивается и палит артиллерия. И снова авиация штурмует атакующие колонны. Мне на НП трудно, так как я не вижу человека, бегущего в атаку, а вижу в стереотрубу черные точки. Мне думается, что генерал, поднявшийся на НП и не побывавший в окопах, не поносивший солдатскую шинель, в конце концов потерпит поражение, ибо он жертвует солдатами, изматывая их и не ценя. И еще потому, что не представляет себе на практике, что такое бежать в пыли за танком, что такое идти в атаку. Вот об этом и думал.

* * *

Иванов командует обороняющимися в районе кладбища. Он толстоват, даже с бабьим лицом, где еще капелька — и уже будут отталкивающие черты, но пока он симпатичен, добродушен и, как видно, знает дело. Его солдаты контратаковали «противника». И на вопрос: «Какая была атака?» — ответил: «Очень красивая. Давно такой не видел».

И все улыбались.

* * *

Кончилась «война», взят город Н., отходят на отдых. Полуголые крепыши моются у реки и арыков. Здесь же в боевых порядках обедают, поставив котелки на крылья автомашин, на землю, на броню танков.

Палатки стоят под урючинами, и низко, почти касаясь уже побагровевших листьев длинными хвостами, шныряют сороки.

Я снова приехал в Туркестанский военный округ к друзьям-солдатам, старшинам, сержантам, офицерам. И снова, как год тому назад, встретила меня осенняя страдная пора проверок, сменившая летнее горячее время учебы. Здесь, в дальнем гарнизоне, в лицо вам дышит пустыня — горячая и безлюдная. Пески подступают к самому горлу, и сразу же за границами военных казарм начинаются степи, поросшие колючками, а за ними пески, озелененные саксаулом. Но жара и пески не были летом помехой для туркестанцев. И поэтому на осенней проверке они с таким блеском стреляли по движущимся по барханам мишеням, совершали ночные переходы, пели и маршировали по плацу. Фронтовики среди солдат уже нет. Есть немного сержантов и старшин сверхсрочной службы, которые нюхали порох и по соседству с которыми мужают сегодня молоденькие новобранцы. Это сверхсрочники воспитывают пополнение, и высокая выучка в содружестве с военным опытом и ярким солдатским рассказом о фронте делают свое большое дело: новички становятся солдатами — сильными, умелыми, ловкими.

* * *

...Мы шли по оазису с его зелеными садами и хлопковыми полями, с корявыми деревьями грецкого ореха, со землей, изрытой арыками и желтой от стерни; мы шли по пыльным предгорьям, шли, побелевшие от мелкой лёссовой пыли, измученные бесконечными увалами и перевалами, верблюжьими тропами и однообразием холмов. Машины и танки творили чудеса, и после нас картографам придется наносить десятки новых дорог, ибо там, где прошла машина или танк, накрепко впечатана в степь колея, новая и вечная.

17 октября

Парад. На пыльной площади выстроены солдаты, только-только вернувшиеся с учений. Торжествен и праздничен весь ритуал этого полевого парада. Командир на коне объезжает строй, немногоголосое, но твердое «ура» провожает его. И вот оркестр и мальчишки-сигналисты открывают музыкой парад. После парада командир жмет руки всем офицерам. До этого уходит с плаца оркестр, и его мелодия, все затихая и затихая, навеивает грусть, как всякое расставание...

* * *

Прошли перевал. В городе готовились к встрече. У ручья мылись и брились после последнего рассветного перехода солдаты и офицеры. Выжидание было томительное. Жены приходили узнавать, девушки в школах и вузах по несколько раз рассыпали и снова собирали букеты осенних цветов. И вот в 2 часа у обелиска Победы собрались горожане по обеим сторонам улицы, и наконец-то показались первые машины. Грянул оркестр. И полетели в руки, в грудь, в головы бойцам букеты, пачки папирос. Цветы, не долетая, падали на мостовую, и их снова бросали солдатам. Приподнятое настроение горожан оттеняло улыбку гордость хорошо поработавших солдат.

Воспоминания друзей

*...Мы нашу дружбу берегли,
как пехотинцы берегут
метр окровавленной земли,
когда его в боях берут.*

С. Гудзенко

Расул Гамзатов

Памяти Семена Гудзенко

В поэмах и сказках мы ищем героев,
Из песен мы их имена узнаем,
И лишь потому, что он рядом с тобою,
Героя не видим мы в друге своем.

Порою мы многого не замечаем,
У нас притупляются сердце и глаз.
И другу мы песни свои посвящаем,
Когда он не слышит ни песен, ни нас.

На зов мой ни слова. На зов мой ни звука...
С могильных цветов опадает пыльца.
Ужели нужна лишь такая разлука,
Чтоб друга, поняв, оценить до конца!

В простреленном ватнике, бритоголовый,
Мой друг и ровесник, пришел он ко мне.

И веяло жизнью от каждого слова
Стихов его первых, рожденных в огне.

Бродили мы с ним по Москве до рассвета
И после валились, усталые, с ног.
Он в гости в аул наш приехать на лето
Дал слово, да слова сдержать уж не смог.

Я путаюсь вновь в переулках Арбата,
Где с ним мы когда-то бродили не раз.
Мне слышится голос его глуховатый,
Как будто он рядом шагает сейчас.

К. Лазнюк, командир отряда ОМСБОН

Боец-комсомолец

ОМСБОН^[3]. Ее отряды формировались в первые дни Великой Отечественной войны на столичном стадионе «Динамо». В нее шли коммунисты и комсомольцы, главным образом студенты, спортсмены Москвы и Московской области, шли по путевкам ЦК партии и ЦК комсомола. Наставниками и воспитателями молодежи, вступавшей в бригаду, были офицеры-пограничники и чекисты.

По поручению командования 28 июля 1941 года я сформировал отряд. Одними из первых в отряд пришли студенты-ифлийцы Гудзенко, Юдичев, Вербин, Мачерта, Шаршунов, Лукьяненко и многие другие. Они стали костяком отряда.

В отряде числилось 120 бойцов и офицеров. На учебу командование отвело три месяца. Чтобы освоить программу занятий в мирное время, потребовалось бы девять месяцев. Нам прислали преподавателей из военно-инженерной академии и института физической культуры. Мы создали отделения, взводы и приступили к занятиям. Начали усиленно готовиться особенно по тем дисциплинам, которые нужны бойцу-разведчику, партизану в тылу врага. Изучали военную технику, отечественную и трофейную, радиосвязь. Кроме того, каждый должен был научиться водить мотоцикл, автомашину, танк, самолет. Мы готовили солдат-универсалов.

Семен Гудзенко был первым номером ручного пулемета и командиром отделения. За короткое время он хорошо изучил материальную часть оружия и теорию стрельбы. Позднее, в боях Гудзенко со своим «дехтярем» — как он называл свой ручной пулемет

— многим спас жизнь, не раз выручал своих товарищей при выполнении боевых операций. Товарищи знали: на Семена можно положиться, он со своим «дехтярем» не подведет.

Отряд наш делал большие переходы — по 40–50 километров в сутки, при полном боевом снаряжении форсировал реки, люди очень уставали, но нытиков у нас не было.

Семен был любимцем в отряде, хорошим товарищем. У него всегда были при себе томик Маяковского, Блока или Асеева, ну и собственные стихи. Семен читал стихи на привалах, на марше. Песню, написанную Семеном, «В бой за красную столицу, москвичи!» пели все подразделения бригады и воинские части, оборонявшие столицу. Он писал стихи о боевой жизни отряда, о службе солдата, разведчика, партизана, которые печатались в бригадной газете.

Москва была объявлена на осадном положении, и наш отряд стал нести комендантскую службу в столице. Бои шли на ближних подступах к Москве. Москва была боевая, фронтовая, суровая. И вот наконец настал наш черед идти защищать столицу. Был получен приказ выехать на Калининский фронт для выполнения спецзадания. Отряд минировал мосты, железнодорожные станции, склады, взрывал и отходил последним, вел разведку.

Семен Гудзенко не расставался с пулеметом, обеспечивал и прикрывал отход товарищей. Он проявил себя в бою смелым, бесстрашным воином. Семен воевал не только пулеметом, гранатами, миной, но и пером. В перерыве между боями он вел дневник, куда записывал основные моменты боя и боевые подвиги товарищей.

6 декабря 1941 года начался разгром немцев под Москвой. Фашисты панически отступали. Отступая, враг цеплялся за каждый населенный пункт, за каждую высоту, создавая сильные опорные пункты, концентрируя новые силы в районах Калуги, Брянска, Смоленска для нового наступления на Москву.

Бригаде была поставлена задача — забросить отряды в тыл врага, в районы Калуги, Брянска, Смоленска, чтобы уничтожить коммуникации, помешать осуществлению вражеского плана наступления на Москву.

В районе Сухиничи — Думиничи были заброшены 4 отряда и в их числе мой. Бои мы вели жестокие. Отряды несли большие потери.

Смерть пощадила Гудзенко.

Семен Гудзенко остался в моей памяти человеком высокой коммунистической морали, широкой культуры, большой души, бесстрашным бойцом-комсомольцем.

**Илья Давыдов, врач батальона 2-го полка
бригады особого назначения**

Начало пути

Даже теперь, спустя много лет, я вижу его живого и беспокойного, а за каждой его строкой из блокнота или стихотворения — бурю событий и множество юношей, которые окружали Семена и с которыми мне выпало счастье вместе встать на защиту Родины. Гудзенко протестовал против войны всем сердцем, всем своим существом и потому, что протестовал, — воевал. Я познакомился с Семеном в один из сентябрьских вечеров сорок первого в Челюскинской, где размещался наш батальон.

В комсомольскую роту я зашел по обязанности врача батальона. Это было одно из самых шумных и беспокойных подразделений, которое наши кадровые командиры шутя называли «студенческим» или «ротой философов». А здесь действительно было много студентов из Института философии и литературы имени Чернышевского. Впрочем, были в роте не только студенты, но и юноши прямо со школьной скамьи.

В тот вечер, когда я зашел в комсомольскую роту, стреляли. Стреляли неистово. И над Москвой взметалось багровое зарево, сновали бледные полосы прожекторов и на мгновение, схлестнувшись, разбегались в разные стороны, вспыхивали осветительные бомбы, словно хищные глаза, сброшенные с вражеских самолетов. Тихо вздрагивала земля и веранда казармы, где перед отбоем на сон собралась рота.

Была объявлена воздушная тревога. Я потребовал, чтобы бойцы укрылись в щели, отрытые за казармой. Бойцы глухо протестовали. Высокий стройный юноша — это и был Семен Гудзенко, — хмуро сдвинув густые черные брови, молчал.

Молчал, но явно злился. Потом недовольно вздернул плечом и, захватив шинель, направился к выходу. А потом я услышал голос Гудзенко из щели:

— Таких здоровенных парней гоняют в щели... А немцы напирают на всех фронтах!

Эти слова выражали настроение не только роты, батальона, а всех бойцов и командиров нашей большой и необычной бригады особого назначения.

...Еще раз я увидел, как злится Семен, когда наши войска нанесли первый ощутительный удар по врагу под Ельней. Семен испугался, что врага разгромят без нас, а наш батальон, полк, вся бригада — мы так и будем учиться.

В середине октября сорок первого наша бригада особого назначения, поднявшись по боевой тревоге, ушла в Москву.

По улицам, на которых уже возводились баррикады и отрывались ячейки для пулеметов и гранатометов, шла, чеканя шаг, наша

комсомольская рота. На затемненном Садовом кольце подчеркнуто сурово звучала песня:

Звери рвутся к городу родному,
самолеты кружатся в ночи,
на последний бой с врагами,
в бой за красную столицу, москвичи!

Запевали, как всегда, Вася Краснушкин и высокий чернявый красноармеец, вчерашний рабочий, а теперь заместитель политрука, Поперник. Слова песни принадлежали Семену Гудзенко и его другу по институту, а сейчас и по роте, тоже поэту — Юрию Левитанскому.

Песня прожигала сердца.

Именно к этим дням — 16–17 октября — относится скупая запись Семена в блокноте: «Темная Тверская. Мы идем обедать с винтовками и пулеметами. Осень 1941 года. На Садовом — баррикады. Мы поем песню о Москве...»

Подразделениям бригады назначили участки обороны. Батальонам 2-го полка, разместившимся в театре и в школе на Бронной, а также в Литературном институте имени Горького на Тверском бульваре, выделили участок от площади Пушкина до Белорусского вокзала, включая Бутырский вал. Среди других задач, поставленных перед бригадой, было патрулирование столицы.

Москва... В те дни она казалась суровой и неудобной. И от этого еще больше щемило сердце. На улицах непривычно мало прохожих, даже военных. Белые и черные квадраты, нарисованные на асфальте, площадь, застроенная фанерными домиками, одетые в серые чехлы кремлевские звезды... Камуфляж. А на стенах домов и на заборах — призывы, плакаты. Чаще других плакат: суровое лицо женщины, поднятая рука — «Родина-мать зовет!».

По улице Горького, звучно печатая шаг, идет патруль. Остановившись, я пересчитываю красноармейцев:

— Один, два... восемь... Двенадцать! Ну да, Блок!

Семен Гудзенко, поравнявшись со мной и словно угадав мои мысли, негромко процитировал на ходу:

Гуляет ветер, порхает снег.

Идут двенадцать человек...

Из кармана его шинели торчит уголок белой книжицы. Такая же книжица высовывается из кармана у Юрия Левитанского. И у Валерия Москаленко, и у Вити Кувшинникова... У всех бойцов, шагающих в патруле! Такая же книжка лежит и в моем кармане. Английские баллады и песни, переведенные Маршаком. В эти дни возле дверей книжных магазинов, витрины которых мы закладываем мешками с

песком, оставляя узкие амбразуры, на лотках идет бойкая распродажа книг. И мы покупаем только те, которые удобно носить в кармане.

Вечером в казарме, в одной из комнат Литературного института, Семен Гудзенко декламировал Киплинга. Когда окончил, сказал раздумчиво:

— Очень сильный поэт! Для солдатского настроения хорошо. Но нам сейчас подходит больше Блок. А лучше всего — Маяковский.

Перед отбоем Семен заглянул в санчасть. Нет, не за медицинской помощью. С тех пор как мы разместились в Литературном, такие короткие вечерние встречи стали у нас традицией. В шкафах, которые мы составили в институтский подвал, я как-то обнаружил оригинальную библиотеку — это были рукописи: стихи и проза студентов-горьковцев с пометками преподавателей.

А спустя несколько дней я узнал, что Семен наотрез отказался уйти из роты в редакцию только что созданной бригадной газеты, куда его пригласили работать. Он хотел видеть врага и стрелять в него. Хотел стрелять по врагу, посягнувшему на Родину, на поэзию, на все, что так страстно любил Семен.

И может быть, потому так взволнованно и отчетливо звучал голос Семена Гудзенко во дворе Литературного института 6 ноября сорок первого года, когда Семен Гудзенко произносил слова военной присяги. Он готовил себя к подвигу.

7 ноября 1941 года полки бригады, держа равнение на Мавзолей, прошли по Красной площади. А спустя несколько часов уже садились в автомашины. Батальон выезжал на фронт. Лицо Семена было торжественным.

Михаил Луконин

Талант на гребне жизненных испытаний

Мы и не заметили, как завечерело. Отпыхал большой закат, уgomонились краски, остыл пепел облаков. Из-под Шауляя доносились орудийные раскаты, мимо нас по магистральной дороге проходили танки, взывая на лесном пригорке. Было еще тепло, но уже начали моросить долгие прибалтийские дожди. Армия пробивалась на Шауляй, а на сгибе двухверсток была Рига.

Мы сидим на бревне возле крепко сколоченного сарая, мой собеседник — совсем еще юный солдат, пришедший к нам из госпиталя с желанием работать в газете. Что-то слышал он обо мне или читал что-то, сразу отыскал и прямо с ходу стал читать стихи, рассказывать о молодой московской поэзии, о Москве, где ему удалось побывать после

ранения. Он нетерпеливо выкладывал новости, поминутно вскакивал, отчаянно размахивая раненой рукой, читал стихи:

Если осталась одна рука,
жизнь хватают наверняка!

Он говорил:

— В Москве кипит литература. Приходят с войны наши ребята, шлют стихи с фронтов, все это новое и по-новому. Там есть Семен Гудзенко... Семен наш! Мы будем в литературе, старик! — закричал солдат и со всего размаху ударил меня по погону.

С этой минуты я и запомнил имя Семена Гудзенко.

Из дома, в котором расположилась редакция, вышел редактор Смирнов, подтянутый высокий блондин в очках, человек беспощадный к себе и к людям!

— Виктора Урина — ко мне! — проговорил он, не сходя с крыльца.

Мой собеседник молниеносно перемахнул через дорогу.

— Я тут, товарищ подполковник!

— Поезжайте в пятый корпус. Найдите экипаж Васильева... Сейчас звонили...

Виктор Урин повернулся кругом, метнулся к проходящему мимо грузовику, закинул за борт правую руку и, акробатически перевернувшись, оказался в кузове. Подполковник протер очки и с изумлением глядел на опустевшую дорогу.

* * *

Потом я прочитал книгу Семена Гудзенко — мне прислали ее из Москвы. Да, это была большая поэзия, знакомство с ней было моим вторым поэтическим потрясением за войну. Не то чтобы мне во время войны не доводилось встречаться со стихами. Были стихи Симонова, которые я всегда любил, был уже и «Василий Теркин» — как продолжительная радость этих лет. Но впечатления от «Знамени бригады» Кулешова и от книги Гудзенко были глубоко неожиданными, какими-то особыми для меня. Тогда, разумеется, я не мог знать, что мы с Гудзенко станем друзьями, но именно тогда, задолго до встречи с ним, я почувствовал родную душу.

...В первых числах мая 1945 года редактор отпустил меня в Москву, мне хотелось показать в издательстве свою первую книгу. Из штаба шла в Москву машина, я кинулся к ней и чуть не опоздал. Мы выбрались из города и прочитали указку: «Берлин. До Москвы — 1950 километров». О многом думалось по дороге из Берлина, многое вспоминалось в эти длинные часы, пока гудел наш грузовик. Мы ехали без отдыха, шофер так спешил домой, что почернел за эти двое суток. 9

мая утром, уже под Москвой, он на секунду прикрыл глаза, и мы оказались в кювете.

И было девятое мая в Москве. Наше поколение помнит этот день, может, он и был главным днем нашей жизни. До поздней ночи я ходил по Москве. Потом я встретил Леонида Мартынова. Это были сплошные дни поэзии, я благодарен Мартынову за эти дни. В клубе писателей встретился мне Михаил Львов. Я спросил его о Гудзенко. «Да, знаю. Это самое настоящее, вот увидишь!» И наутро заявился ко мне с целой компанией. Кроме Урина, я никого не знал, но Семена Гудзенко как-то отгадал сразу. Он был очень красив, красив щедро, размашисто и просто, той красотой, которая презирает зеркала. У Михаила Львова в портфеле оказалась бутылка молока, у меня нашлись концентраты. Мы с Семеном удалились на кухню, нашли полуведерную кастрюлю, сварили кашу, которой нам хватило на весь этот замечательный день.

Я был старше на одну войну, три года разницы тогда нам казались заметными, пока мы не приступили к стихам. Мы сразу почувствовали единство, почувствовали поколение.

Было так хорошо с Семеном Гудзенко, с друзьями перед нашей новой дорогой.

Сейчас даже не верится, что вместе мы были всего семь лет. Эти семь лет кажутся теперь целой жизнью — так они были полны веселья, работы, действия.

Семен Гудзенко умел веселиться, умел действовать, работать, он не терял время на раскачку.

Гудел наш семинар на Первом Всесоюзном совещании молодых. Рычал на нас неукротимый Павел Антокольский. «Где стихи?» — требовал он.

Волновал нас Алексей Недогонов, впервые прочитавший «Флаг над сельсоветом». Открылись перед нами таланты Иосифа Нонешвили и Резо Маргиани. Читали Марк Максимов, Сергей Наровчатов, Виктор Урин, Вероника Тушнова, Александр Межиров, читал Семен и я. Так читали, что соседние семинары жаловались на нас администрации Дома ЦК ВЛКСМ.

Потом мы с Семеном писали статью «Разговор о молодых». Ехали в Ленинград — знакомиться с Сергеем Орловым. И не было встречи, чтобы она не начиналась с новых стихов. Это подтягивало, торопило, наполняло жизнь.

Кому хоть раз доводилось слушать чтение Семена Гудзенко, тот помнит, как оно завораживало и захватывало душу. Это было обаяние подлинности и правды светлого таланта. Мне приходилось много раз выступать с ним, и всегда это было радостью.

Меня удивляло его умение знакомиться с людьми. Редко его можно было встретить в одиночестве.

— Знакомься, он из Иркутска. Хороший парень!

— Кто это?

— Это парень из Киева, хороший журналист!

— А это ребята из нашей части, надо помочь им! — представлял он пришедших недавних солдат.

Всегда вокруг него все кипело, он не знал устали в своем интересе к людям и был жаден к ним до неправдоподобия. По дороге из Москвы в Орел он успел поговорить с бригадой молодежи, едущей на торфоразработки, завязать дружбу с матросом торгового флота, а с агентом промкооперации по закупке грибов стал так неразлучен, что позвал его с нами, поселил в нашем номере и был с ним до самого нашего отъезда в Курск.

Это была щедрость души, тяга к жизни.

Здесь опубликованы воспоминания Юрия Окунева о работе Семена Гудзенко в выездной редакции «Комсомольской правды» на восстановлении Волгограда. Нет ничего удивительного в том, что его знали все молодежные бригады!

Году в пятидесятом мы как-то утром шли с базара в Волгограде, на каждой руке у нас было по арбузу, а подбородками мы придерживали кульки с виноградом. Вдруг он свалил наземь арбузы и кинулся через дорогу. Я увидел согнувшегося татарина, на его заплочной подушке раскачивалась гора здоровенных трофейных чемоданов. Метрах в тридцати сзади шествовал молодой майор под руку с дородной супругой. Семен свалил на землю чемоданы и спросил старика: «Сколько они обещали заплатить? Двадцать пять рублей? — Семен вручил татарину деньги, легонько повернул его за плечо и сказал: — Иди, старик! Майор чемоданы донесет сам. Он здоров!..»

Мне доводилось несколько раз быть в драке плечом к плечу с Семеном. В Ленинграде глухой ночью в незнакомом районе трое молча кинулись скручивать нам руки. Наверно, минут сорок мы вели безмолвный бой. Время от времени я видел Семена — было на что посмотреть! Это был настоящий боец.

Да, Семен Гудзенко умел постоять за себя.

Он был бойцом в полном и высоком смысле этого понятия, человеком не только красивым, но и сильным. Он был очень похож на свои стихи, неотделим от них.

Однотомник Семена Гудзенко стоит у меня на полке рядом с Сергеем Чекмаревым и Владимиром Луговским. Любое стихотворение звучит для меня с его голоса. Думаю, что нет ни одного, которого я бы не слышал от него самого; часто сквозь стихи я вспоминаю обстоятельства жизни.

Раскрываю наугад книгу:

Я в гарнизонном клубе за Карпатами
читал об отступлении...

Он приехал тогда из Закарпатья загорелый, веселый, целыми днями читал и рассказывал. Это были уже стихи о мирном труде, новые темы жизни.

Потом он уехал в Туву, а я на Волгу, искать свой «Рабочий день». У меня есть письма Семена, присланные тогда. И опять — сила уверенности, веселая жажда жизни. Письма дышали ветром дорог, неукротимым духом его веры в поэзию. В моей душе жило богатство дружбы с ним. Раза два он уезжал к восточной границе, потом привез поэму «Дальний гарнизон», она нас радовала чистотой интонации, правдивостью, она и сейчас важна для воспитания поколений.

Во всем, чему отдавался Семен все эти недолгие годы своей быстрой жизни, во всем — большая сила страстного молодого таланта.

Это был талант, оказавшийся на гребне жизненных испытаний, это была молодость, оказавшаяся готовой к этим испытаниям.

Ветер и дождь, земля и небо, люди труда и подвига, верность долгу — вот пафос его творчества, и ни война, ни мир не являются темой сами по себе, вся его поэзия — это поэзия большого советского характера.

Павел Антокольский

«Мы никогда не отпрощаемся с тобою...»

Первое мое знакомство с Семеном Гудзенко в начале 1943 года было связано с очень коротким испытанием, выпавшим на мою долю. Оно продолжалось чуть меньше секунды, но было настолько сильным, что я должен о нем сказать. Когда вошел этот высокий, страшно худой, черноволосый юноша в выцветшей гимнастерке, мне вдруг померещилось, что это мой сын, известие о гибели которого пришло месяцев за шесть-семь до того. Война не однажды возвращала подобным образом сыновей, мужей и братьев, которых считали погибшими, так что, если бы вошедший действительно оказался младшим лейтенантом В. П. А., в этом не было бы никакого чуда. Не буду больше к этому возвращаться, скажу только, что эта первая секунда окрасила собою многое в наших дальнейших отношениях, в дружеской близости, возникшей между двумя людьми, столь разными по возрасту.

Он только что вернулся из госпиталя, и все его существо дышало войной, пережитым на войне. А на войне с ним произошло событие огромной важности: он стал взрослым человеком. Он читал стихи, те самые, что в скором времени вошли в его первую книжку «Однополчане». О них и тогда и впоследствии много говорили, спорили, ими увлекались, их отвергали начисто, принимали до конца.

Разноречивость оценки сама по себе свидетельствовала о силе стихов. Что же в первую очередь отличало их от других фронтовых стихов, чем держится эта угловатая юношеская лирика, о чем она? О правде. Только правдой держится она.

Поэт пришел из низов армии, из стрелкового батальона. Политически он был вполне грамотен и, конечно, способен осмыслить значение народной войны. Но в его задачу входило одно: уберечь непосредственную достоверность пережитого.

В этом была особая принципиальность поэта, его требовательность. Разного рода снобы и ханжи сколько угодно могли пожимать плечами и кривить губы по поводу того, что советский солдат «выковыривает ножом из-под ногтей чужую кровь».

Действительно, такой солдат впервые забрел в поэзию, но, если уж он оказался вогнанным в крутую строку, он очень твердо свидетельствовал о правде рассказанного, о суровой правде фронтовых будней.

И еще одна черта сразу бросалась в глаза — крайняя молодость автора, чуть ли не порог между отрочеством и юностью, время, когда окончательно устанавливается ломавшийся до сей поры голос, когда он становится мужским басом. Когда мы читали: «Наш путь, как Млечный, раскален и долог», или: «Мы видели кровь, мы видели смерть просто, как видят сны», — то это не казалось «поэтичностью» в кавычках, не красивым оборотом речи, ибо за этим еще стояло отроческое восприятие мира, которому органически свойственно клубиться метафорами. Когда-нибудь повзрослевший и отрезвевший человек их отвергнет и попросту забудет, но, пока ему и двадцати от роду нет, он видит сны и прочно их запоминает, а Млечный Путь такая же реальность для него, как военная дорога, изрытая снарядами.

Десять лет для поэта — срок и малый и большой одновременно. Для Семена Гудзенко он оказался грандиозным — так много с ним произошло, так изменился, так чудесно вырос на наших глазах этот замечательный человек.

В книге публикуются записные книжки Семена Гудзенко. По ним можно проследить его стремительный рост, его возмужание в первые потрясающие дни и месяцы Отечественной войны. По ним можно почти воочию, почти физически увидеть этого двадцатилетнего юношу в минуты раздумья о самом себе, о судьбах своего поколения, о поразному складывающихся судьбах товарищей. Можно увидеть, как рождались многие из тех стихов, которые вы прочитали уже в завершенном виде и в его незавершенных замыслах. Можно, наконец, узнать о многих замечательных сверстниках поэта: студентах, солдатах, командирах Советской Армии, с которыми Семена Гудзенко сталкивала и сближала жизнь. Обо всем этом сказано скупое, как это и должно быть в блокнотных записях, во фронтовой, походной обстановке. И в то же время многое сказано с большой

выразительностью и остротой, выдающей человека наблюдательного, зоркого, чуткого — художника слова.

Однако значение этих записей шире и устойчивей, нежели биографическое и литературоведческое. Не только писательскую лабораторию демонстрируют записи Гудзенко. Не только внутрилитературную ценность имеют они, не только пособием по изучению его личного творчества могут явиться.

Для всего на свете в свой срок наступает история, И в этом аспекте походные и журналистские записи поэта стали историческими документами. Сквозь биографию очень одаренной личности, как сквозь прозрачный транспарант, проступает биография поколения. Поколения, которое со школьной скамьи самоотверженно ринулось в мировую битву и, жертвуя всем, вплоть до жизни, вынесло на своих плечах тяготы и горе первых месяцев войны; поколения, которое, мужая, закаляясь и становясь суровее с каждым часом войны, прошло всю грандиозную дорогу сражений, побед и утрат.

Битва под Москвой, у берегов Волги, Курская дуга, форсирование Днепра и Вислы, освобождение Киева, Варшавы, Будапешта, Праги, Вены, взятие Берлина — вот вехи этой исторической дороги, вехи светлой и суровой биографии миллионов советских юношей. Семен Гудзенко своими записными книжками вновь становится безымянным рядовым бойцом в человеческом строю, становится именно так, как ему самому этого хотелось:

Быть под началом у старшин
хотя бы треть пути,
потом могу я с тех вершин
в поэзию сойти.

Содержание записей чрезвычайно разнообразно. В этом разнообразии выделяются картины западных городов — Будапешта, Вены, Праги — в первые дни после их освобождения Советской Армией и встречи в эти знаменательные дни конца 1944 — начала 1945 года со множеством людей, представителей разных военных специальностей и званий, с венграми, немцами, чехами.

Но с особой обстоятельностью и любовью описаны через несколько лет встречи Семена Гудзенко в Средней Азии с героями его будущей поэмы «Дальний гарнизон» — с бойцами и командирами Советской Армии в послевоенные годы. Как всегда, у Гудзенко это не только комментарий к будущей поэме, не только предыстория произведения, давно уже вошедшего в сознание читателей, но и нечто большее. Ведь в поэму вошли уже отобранные и творчески преображенные персонажи, типы, герои. Между тем в записях поэта фигурируют десятки иных, не столь значительных, но тем не менее достаточно интересных солдатских судеб и биографий, замеченных с обычной для

Гудзенко любовной зоркостью и чуткостью. Гудзенко общался с ними на марше по пескам пустыни, на коротком отдыхе, в казарме или на биваке, он читал их письма к родным и любимым; вглядывался в списки прочтенных ими книг.

Красавец с открытым, благородным лицом, с большими руками, созданными для лопаты и паруса, с большими ногами, созданными для того, чтобы отмахивать километры, с глубоким голосом, созданным на то, чтобы передать любое сильное чувство, любовь и гнев, человек простосердечный, общительный, отзывчивый, с неисчерпаемым запасом юмора и веселости. Наконец, человек счастливый во всем — в работе, в находках темы, в странствиях, в любви, в быту, в дружбе.

Он был непоседлив — и профессионально, как хороший журналист, и душевно, потому что преодоление пространства, все новые и новые края и климаты ему были нужны как воздух и хлеб вдохновения. Если на карте Советского Союза поставить флажки в тех местах, где он побывал, это будет поучительная картина размаха и душевной экспансии. Это и будет его короткая и яркая биография.

А как бескорыстно выводил он в свет других молодых, которые были моложе всего на полчаса! Когда на его горизонте появлялись еще никому не ведомые, ни разу не печатавшиеся новички, он сразу становился их активным пропагандистом, приносил их стихи в редакции, трубил им славу. Чем была вызвана эта отзывчивость? Прежде всего чувством плеча, которым держится очень многое во всей нашей общественности. Кроме того, хозяйским отношением к общелитературному делу. И наконец, за этим стояло живое у него чувство поколения, одно из самых властных и организующих у молодого поэта. Он принес его из армии. Семен Гудзенко навсегда запомнил свой солдатский долг по отношению к великому множеству подобных ему молодых, тех, которые погибли, и тех, которые остались в живых. Памятливыми признаниями долга полна вся его лирика, но стихотворение первое по счету особенно значительно: «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...» Это удивительное стихотворение — такая в нем утверждается вера в жизнь, таким мужеством дышит оно, так оптимистичен его открытый всякому непредубежденному читателю смысл!

Но ведь стихи не нуждаются в том, чтобы вспоминать их сейчас! Стихи и без того живут и будут жить еще долго после всех нас. А мы вспоминаем живого, который так рано перестал быть живым.

Когда очень здоровый и физически сильный человек заболевает, он долго не замечает болезни. Близкие тревожатся, сокрушенно вздыхают, беспокойство их растет не по дням, а по часам, а он — «да бросьте, пожалуйста, что вы пристали!». И много, много дней пройдет, прежде чем черное дело, творящееся где-то в глубинных недрах живой ткани, внезапно о себе заявит криком несдерживаемой боли, обмороком, тяжелым взглядом, устремленным необычно внутрь себя.

Болезнь длилась долго. Но в ней были светлые промежутки, когда мужественный человек снова выпрямлял плечи. Стойкий, храбрый, выносливый, привыкший в армии ко всему, он снова и снова радовался возвращенному дыханию, домашнему уюту после больничной палаты. Каким глубоким и сосредоточенным огнем горели его чудесные глаза, как дружелюбно протягивал он близкому человеку горячую, сухую руку, как верил в непобедимую, трижды благословенную, бессмертную жизнь.

Милый, родной друг! Мы никогда не отпрощаемся с тобою^[4].

Василий Субботин

Поколение

Если не ошибаюсь, речь идет о сорок четвертом. О зиме. Прекрасно и отчетливо все помню. Сначала, однако, о стихах. И лучше, если я расскажу обо всем по порядку.

Мы разместились где-то на самом дне глубокого, заметенного снегом оврага, в старых, в мокрых, похожих на стойла землянках.

Свечерело. И снег, и небо — все, что было видно в окне, через маленький осколок стекла, сделалось фиолетовым. Передний край был подальше, однако, хотя и с перерывами, его говор сюда все же доносился. Я недавно только начал работать сотрудником в дивизионной газете и почти каждый день туда ходил. Теперь тоже я только-только пришел.

Тут в землянке мы и жили вдвоем. Мы всегда так жили. Так же как редактор и секретарь, всегда особо. Лобода был постарше меня, поопытнее. Он давно писал стихи.

Почти каждый день, с утра, мы уходили на передовую, оттого в земляночке нашей было так холодно и необжито.

Вот в этой-то землянке в этот вечер мы и прочли их, эти стихи. И конечно же, мне дал их мой товарищ. Я, право, не знаю, где ему удалось достать и этот журнал, и стихи... Это все какая-то случайность. Потому что никогда прежде никакой журнал сюда, до переднего края, не доходил.

Едва я увидел те стихи, как понял, что слышал уже о поэте. (Тогда с первого раза я даже не запомнил его фамилии.) Я в то время учился на курсах, в танковом училище. И приехавший туда Антокольский сказал нам впервые о том, что появился в Москве новый поэт... Фамилия не запомнилась, а может быть, даже и не называлась.

Говорилось так, что он солдат, какой-то еще совсем молодой парень. До войны учился то ли в школе, то ли в вузе, писал плохие стихи. Такие, как все. Стихи, пришедшие от литературы, от книг. Но

началась война, и попал этот парень на фронт, под Сталинград попал, был контужен, ранен. Лежал в госпитале. Он-то и написал первые стихи о войне... Настоящие, солдатские.

Мне это запомнилось, хотя для первого раза, может быть, и прозвучало чересчур таинственно.

Очевидно, уже тогда я и товарищи мои по курсам и по казарме восприняли все так, что появился поэт наш. Выраженный войной. Мы знали — он придет обязательно, хотя до сего дня видели только творящих подвиг. За каждую свою побывку на переднем крае я видел их, людей войны. Но не было певца. Не было творящего песню. Того, кто бы рассказал обо всем.

Потому-то и так хорош был этот рассказ, что в нем было что-то от легенды.

И вдруг, в холодный вечер зимы, в необжитой, в старой, покинутой другими землянке попался мне томик лучшего в то время военного журнала «Знамя». Я увидел заверстанные в середину стихи поэта.

«Когда на смерть идут — поют. А перед этим — можно плакать...»

«Снег минами изрыт вокруг и почернел от пыли минной...»

Я сразу понял, что это он.

Как это точно все было передано! Все то, что знал и я. И как раз так, как я сам видел, — покрытые минною копотью склоны.

Сразу подумалось, что я тоже так мог бы показать. Ведь и я, я тоже ходил по этим холмам, овитым фугасной серо-желтой пылью. Везде, пока не доберешься до траншеи, — угольно-серые, черные холмы. Они всюду, куда ни посмотришь.

И поверьте мне: солдату действительно кажется, что все-все снаряды, и крупные и мелкие, летят в него, все, что есть стреляющего, несущего смерть, направлено на него. И все странно его минует. И все — странно! — пока не попадет, его минует.

Вот почему это так точно:

...Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв —

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Я должен сказать тут, что это стихотворение было знаменательным для всей нашей поэзии о войне. Мы как-то внезапно увидели, как правдиво можно писать о войне. И должно быть, влияние его сказалось на многих стихах очень многих поэтов.

Так я с ним познакомился... Ходил по этим изрытым, фугасом запорошенным сопкам и холмам, падал, когда рвалась мина, и, оглядываясь на звук пропевшей пули, повторял: «Мне кажется, что я магнит!»

И вроде бы было веселее. Слово уже было найдено! Всему тому, чему трудно было найти выражение.

Может быть, для поэтов — для его сверстников, для тех, кто до войны посещал литературные аудитории в Москве, — может быть, для них стихи эти не имели такого значения.

Но я говорю только о себе. Я ушел на войну из десятилетки, из небольшого городка в Предуралье, и в солдатский мой ровик поэзия явилась на фронте.

Но, думаю, не для меня одного так необходимо было появление поэта Гудзенко.

Когда мы съехались, слетелись в Москву, нас было уже двести человек! Мы родились как-то все сразу, мы ввалились целой гурьбой. Сдержать нас было трудно.

Для меня он так и остался первым в поколении.

Когда мы вернулись с войны, молодых поэтов было уже много... Были поэты, голоса которых знали уже. Одни заявили о себе после и одновременно, многие даже раньше. Я рассказываю здесь, как это было для меня.

Но тогда, на войне, я прочел только эти несколько стихотворений из случайно попавшей на фронт книжки журнала. «Однополчан» его там, на фронте, в условиях переднего края, прочесть я, конечно, не мог.

Эту его первую книжку, как и многое другое. Как и первые стихи, стихи уже появившихся в журналах молодых, статьи о них, о молодых, вернувшихся с войны, я прочитать не мог. Все это я прочел, когда сам вернулся с войны, с фронта. Только зимой, в сорок пятом году. Может быть, даже в сорок шестом. С полустанка, на котором я тогда жил, я поехал в город.

Я получил эту его первую книжку в читальном зале библиотеки и долго искал свободный, незанятый стул. Книжка эта оказалась до удивления маленькой, тоненькой. В ней было не более десяти стихотворений.

Конечно, я их все помню.

«Тяжелый шаг. Как будто пыль дороги колотят стопудовым колуном...»

И это:

«Пепел костров и пепел волос — это солдатских кочевий следы».

За месяц или полтора до совещания, которому суждено было сыграть такую непредвиденно большую роль в судьбе молодого поколения поэтов, я проезжал через Москву. И со смелостью, свойственной молодости, я со смелостью и дерзостью, которой тогда, после возвращения и победы, у нас было больше, позвонил Антокольскому.

Все тот же Антокольский — он, а не кто другой, снабдил меня запиской к дежурному в клубе, просил пропустить на собрание секции поэтов. Собрания никакого не было, но меня пропустили.

Так вышло, что в первую же минуту я познакомился с Лукониным, которого его стихотворение «Пришедшим с войны» сразу сделало не только известным, но и сразу показало, как бывает всегда, его человеческий характер.

Я ведь был в гимнастерке, и ему нетрудно было узнать во мне одного из вернувшихся. Первое, что я сделал, — я спросил его о Гудзенко, и, взяв за руку, он подвел меня к высокому, рослому парню, который стоял на ступеньках лестницы. Помню, в сапогах был.

— Ну, пойдем, старшой, — я был старшим лейтенантом. — Почитаешь, — сказал тот громогласно.

Мы уселись за один из столиков. Сколько мы раз потом за ними сидели. С ним и все вместе. Все, сколько нас было! Никогда уже это не повторится. Едва мы сели, я стал читать. (Откуда смелость бралась!) Они похвалили, переглянулись. И Луконин тоже похвалил. И сразу я себя почувствовал младшим. У меня это надолго осталось. С Гудзенко мне было проще: мы ведь с ним были давно знакомы!

Но именно Луконин стал говорить с Семеном, что меня надо пригласить на совещание. Об этом совещании тогда много говорили, но почему-то долго его откладывали.

Я действительно приехал, был вызван за день до открытия.

В те бурные дни мы виделись мало.

Я помню заключительное заседание, когда ему пришлось отвечать критикам. Перед этим в печати ругали даже «Быть под началом у старшин». Но особенно ополчились все на всех раздражавшее: «В каких я замках ночевал, мечтать вам и мечтать!»

— Не надо устраивать хихоньки да хахоньки по слишком серьезным поводам, — помню я, он сказал.

Я видел, что ему очень горько.

Я уехал, стал переключаться на мирные темы. Нам было сказано, что все в нашей судьбе зависит от того, как скоро мы перейдем на мирные темы. Довольно решительно нас переключали на эти мирные темы... Я вернулся в Крым, работал, собирал литературное объединение. Сразу, перед счастливым месяцем, проведенным им в Крыму, я получил от него открытку. Он писал в ней: «Хорошо, что молодая поэзия имеет своего полпреда в Крыму».

И самую первую рецензию на свою первую книгу я получил тоже от него. Очень быстро, едва книга вышла, он о ней написал.

И как его хоронили, я тоже помню. Но об этом я не хочу, не стану. Перед смертью он писал, как врачи высаживались и, словно десантники, спасали его. Вытаскивая его с того света.

И даже с той уже даты прошло много лет.

Отчетливо все вспоминаю. Раньше, чем я услышал его стихи, я знал уже о нем самом...

Теперь все становится на свои места. И наш путь, и наше не заласканное жизнью поколение... И то, как мы сидели в мокрых, похожих на стойла блиндажах и землянках и читали его стихи. И будет порох словом заменен...

Мы тогда еще не понимали, как это хорошо!

Александр Межиров

Памяти друга

С. Гудзенко

До сих пор я поверить не в силах,
Вспоминая родные черты,
Что к солдатам, лежащим в могилах,
Раньше многих отправишься ты.

Что тебя не подымет над тучей
Самолет со звездой на крыле,
Что под сенью березы плакучей
Отдыхаешь в родимой земле.

В той земле, для которой ни крови,
Ни дыхания ты не берег,
Что стоит у тебя в изголовье,
Вдоль пройденная и поперек.

Нас везли в эшелонах с тобою,
Так везли, что стонала земля,
С Белорусского — на поле боя,
И с Казанского — в госпитал~~я~~.

Ни кола ни двора, только ноги...
Был твой подвиг солдатский тяжел.
Ты назвался поэтом дороги
И ни разу с нее не сошел.

Потому я и верю, что где-то
Между Кушкой и дальней Тувой,
Весь в сполохах сигнального света,
Мчится поезд грохочущий твой.

Или, может быть, от эшелона
В Закарпатье случайно отстав,
Ты проселком бредешь утомленно,
Догоняешь товарный состав.

Мне совсем не покажется странным,
Если с поезда только, с пути
Ты стоишь у дверей с чемоданом,
Ключ в карманах не можешь найти.

Л. Саховалер, командир отделения, однopolчанин

Что вспомнилось...

...Осень 1939 года. Заполненная аудитория ИФЛИ. Читают стихи. Стихами нас не удивишь. Каждый сам втайне поэт, каждый сам читает стихи — и чужие и свои. Но этот кудрявый парень может. Его строки — что-то о растерзанном до крови пестром осеннем листе — запоминаются, и не только девушкам. Потом узнаю фамилию — Гудзенко.

...Июль 1941 года. Раскаленный асфальт у Ильинских ворот. Толкучка в бюро пропусков ЦК комсомола. Здесь берут добровольцев. Быстрыми шагами проходим по коридорам. В одной из комнат — Гудзенко. «Ты тоже?» — «Да, но только вот закончим с Юркой стихи для радиопередачи о сборе лома».

Август. Подмосковный лесок, брезентовые палатки. По линейке прохаживается дневальный. Начищенные сапоги, белоснежный подворотничок, лихо посаженная пилотка. «Подъем!» — уставным голосом подает команду Гудзенко. А через несколько часов — занятия по подрывному делу. Быстро строчит карандаш в записной книжке: нормы расхода тола, конструкция взрывателя, тактико-технические данные мин. Это, конечно, не стиль Катулла и не мировоззрение автора «Слова о полку...». Но сейчас нужно именно это. Потом даже скупые пометки с занятий волеются в стихотворные строки:

И то,
что может сделать он
и тол
(пятнадцать килограммов),
не в силах целый батальон,
пусть даже смелых

и упрямых.

Кружок солдат за палатками. Сумерки. Одна за другой песни, а запекает Гудзенко. Он может петь и когда жжет солнце, и пыль вьется вокруг взвода, и пулемет давит на скатку и трет шею, и тогда он так же яростно запекает «Если завтра война...», и «Бригантину», и «Катюшу».

Сентябрь. Запыхавшись, он входит в казарму, еле поспел к сроку из города — нужно сдать очередной материал для «Окон ТАСС». «Как дела?» В ответе горечь: «Плохо, Киев сдали».

Октябрь. По пустынным улицам Москвы шагает рота. Винтовки на ремне. Тяжелые мешки за плечами. Песня. Дерзкая песня! Позиция для ручного пулемета оборудована на чердаке одного из домов на площади Пушкина, а пулеметчик поет:

И по улицам Берлина
Флаг советский пронесем!

А вечером вместе с Юрой Левитанским, своим вторым номером, пулеметчик Семен Гудзенко сочиняет новую песню на мотив любимой «Бригантины». Назавтра ее поет рота:

Звери рвутся к городу родному,
Самолеты кружатся в нощь,
Но врага за каждым домом
Встретят пулей патриоты-москвичи.

Припев:

Слышен гул орудий отдаленный,
Самолеты кружатся в нощь.
Шаг чеканят батальоны.
В бой за красную столицу, москвичи!

Мы за все сполна ответим гадам,
Отомстим за наши города.
Нет патронов — бей прикладом,
Чтоб от гада не осталось и следа!

Припев.

Наша слава вспоена веками,
В песнях слава воина жива.
На последний бой с врагами
Поднимается рабочая Москва.

Припев:

Ноябрь. Ленинградское шоссе. Клин. Ямуга. Вельмогово. В нетопленной избе солдаты снаряжают взрыватели для мин. Работа точная. Нужно взвести чеку, привязать ее ниткой. В тусклом свете керосиновой лампы сдвинутые брови Гудзенко. Днем роту бомбили немецкие самолеты — первая смерть на войне. Мины поставлены. Рота уходит, Гудзенко с ней. Десяток бойцов остается охранять минное поле. Через несколько дней блужданий по тылам немцев бойцы соединились с ротой. Гудзенко бросается навстречу товарищам: «Давайте, концентраты готовы, мешки я ваши сберег, сюда, потеснитесь, хлопцы, пустите к костру, замерзли же они». В глазах Семена нескрываемая гордость и радость за друзей — задание выполнили и все вернулись. А потом стихи:
Наш путь, как Млечный, — раскален и долог...

Январь 1942 года. Во дворе казармы выстроился отряд в маскхалатах с лыжами. Отправлялись в тыл к немцам. На правом фланге Гудзенко. К строю подъезжают грузовики. Короткие минуты прощания. Семен быстро взбирается в кузов. Машины выезжают на шоссе...

Май 1942 года. Тыл врага. Белоруссия. На поляне у озера ночью вспыхнули костры. Мягко опустился парашют. Большая земля прислала питание для рации, боеприпасы, мины, газеты. Открываю свежую «Победу за нами». Стихи. Подпись: «Красноармеец С. Гудзенко». Значит, с ним все в порядке. Когда наш отряд уезжал, в полку ходили тревожные слухи о Гудзенко — погиб в боях под Сухиничами.

Сентябрь 1942 года. Москва. Короткий отдых дома после возвращения из Белоруссии. Мать с восторгом рассказывает о Семене. Когда она вернулась из эвакуации, не знала ничего обо мне (через линию фронта письма не шли). Ей удалось разыскать Гудзенко. Он сразу приехал, успокоил. Потом часто звонил, а перед моим приездом сообщил, что теперь уж точно с сыном ничего не случилось.

1943 год. Часто встречаюсь с Гудзенко в редакции, в полку. Поражает его ревностное отношение к газете. Он тщательно вычитывает все материалы, следит за доставкой газеты в батальоны, за тем, как ее читают. Иногда сердился. «Пусть рвут на сигарки (сам он был некурящий), но не могу смотреть, как в газету заворачивают селедку».

1946 год. Вечер поэтов. Гудзенко читает много, последним:
Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути...

Пишу записку: «Старшина Саховалер приказывает красноармейцу Гудзенко явиться завтра в 18.00 по известному ему адресу». Прочитал, улыбнулся, назавтра пришел. Долго сидели, вспоминали товарищей, читал стихи о Закарпатье.

И еще много раз встречал я Гудзенко...

Недавно я прочел книгу генерал-полковника А. И. Родимцева «Под небом Испании». И не случайно ветеран сражений за свободу Испании и Великой Отечественной войны отмечает точность стихов Гудзенко, передающих настроение солдат перед атакой. Для того чтобы написать такие стихи, нужно было самому быть солдатом, самому ожидать атаки... Это высшая похвала воину-поэту.

Яков Хелемский

Треть пути

— Товарищ майор, разрешите обратиться?

Я обернулся. Передо мной стоял парень в легкой рубашке с расстегнутым воротом, в сером костюме. Одежду свою он носил с небрежным изяществом — с первого взгляда обнаруживалась манера держаться непринужденно.

Все в нем привлекало — хороший рост, смуглая кожа южанина, живые горячие глаза под густыми, сросшимися на переносице бровями, и та особая улыбка, которая свидетельствует о природном чувстве юмора.

Вытянувшись в струнку, он глядел на меня лукаво, приложив ладонь к козырьку кепки.

— Вольно! — сказал я, переняв его шутливый тон.

— Давай, майор, познакомимся. А то знаем друг друга только по стихам. Пора нам взаимно выяснить, что мы за люди. Я, как видишь, уже привыкаю к штатскому обмундированию. А ты, говорят, завтра возвращаешься на службу в Кенигсберг. Прости, что я сразу по-фронтовому на «ты». Моя фамилия Гудзенко.

Мы стояли на улице Воровского, во дворе Союза писателей и долго трясли друг другу руки.

После всяких добрых слов, которыми положено обмениваться при знакомстве, Семен задал вопрос:

— Ты куда сейчас? У тебя есть дела?

— Мне нужно в «Комсомолку».

— А мне в «Смену». Значит, по дороге. Давай дойдем пешком до Маяковской, а там нырнем в метро или доберемся троллейбусом.

Было лето сорок пятого года — время возвращений и встреч, время еще незабытых утрат и новых знакомств, время свежих воспоминаний о пережитом и нетерпеливых мыслей о завтрашнем дне.

Мы начали с воспоминаний. Но не с фронтовых. Земляки, мы сразу заговорили о родном городе.

— Слушай, киевлянин, ты где, собственно, там жил? — спросил Семен.

— На Льва Толстого! Угол Саксаганского. Представляешь?

— Мы ж соседи, чудак! Я с Тарасовской.

...Оказывается, мы росли почти рядом. Улицы наши были похожи одна на другую — поднимающиеся в гору, осененные пышными ветвями. Тенистые дворы, отделенные деревянными оградами, одаряли нас уютной живописностью. Здесь полыхали мальвы, трепетали акации, а тополя обнаруживали под ветром серебристую изнанку своих листьев. Рядом качались шелковицы. Мы лакомились их сладкими, чернильного цвета ягодами. На веревках всегда сушилось пестрое белье и проветривались тюфяки. Весной по крутым спускам на улицу Саксаганского низвергались потоки воды и омытые дождем булыжники вдруг оказывались разноцветными. Потом летал нежный тополиный пух, он запорашивал лужи, ветер прибивал его к выступам тротуаров. Мы поджигали его, как это делают и нынешние мальчишки, любуясь бегущим, легким огнем.

В душные июльские ночи на двор выносили раскладушки: нам хорошо спалось под звездным небом и широкими каштановыми листьями.

Осенними утрами, пробегая в школу под старыми кронами, мы отпасовывали своим спутникам игольчатые плоды каштанов, валявшиеся под ногами. При хорошем ударе из лопнувшей ржаво-зеленой кожуры выскакивал твердый, словно полированный шарик.

Я говорю «мы», хотя в те годы не был знаком с Семеном: просто нас окружали одни и те же дома, заборы, деревья. Мы росли рядом в пространстве, но не во времени. И разминулись в Киеве по очень простой причине — я был на несколько лет старше. В детстве и в юности эта разница огромна, она может порой обозначить резкую границу между поколениями. Правда, в дальнейшем, когда мы подружились, этот разрыв почти не ощущался.

Но в давние годы нам встретиться не пришлось. И я ничего не знал о Семене до того военного дня, когда впервые прочитал его стихи.

...И вот мы познакомились. И, шагая по Садовой, взаимно выясняли, что мы за люди.

Не знаю, что выяснил Семен, но у меня сразу же появилось ощущение, что я знаю его давным-давно. Он оказался именно таким, каким я представлял его по стихам. Никаких разночтений тут не было. Увы, такие чудесные совпадения случаются не всегда. Бывает, что при

личном общении с художником испытываешь разочарование — так непохож он на свои творения...

Мы продолжали разговор о родном городе. Вдруг Семен с ходу начал читать стихи, рубя ладонью воздух.

Мы снова в Киеве, дождями
промытом до голубизны,
и, кажется, — каштаны с нами,
весенние, пришли с войны.

...У нас окопное терпенье —
мы все смогли перетерпеть:
и отступления, и смерть, —
чтоб снова в зарослях сирени
с утра малиновкам звенеть;

чтоб снова молодым влюбленным
у тополя рассвет встречать,
чтоб киевлянам запыленным
из Киева писала мать.

— Ну как? — спросил Семен.

— Стихи хороши. А мне, как ты догадываешься, они особенно близки.

— А ты видел Киев после освобождения?

— Я только вчера прибыл оттуда. Слетал на день, навестил сестру, вернувшуюся из эвакуации.

— Какие впечатления?

Вместо ответа я прочел только что написанные стихи:
Никогда в этом городе не было пыли.

Лишь цветочной пылью лицо оведало.

Здесь водою днепровскою улицы мыли,

Да и ныне до блеска промыты кварталы.

Почему же родной ветерок Приднепровья

Осыпает прохожего яростной пылью,

И песчинки, пропахшие дымом и кровью,

Мне забили гортань и глаза ослепили?

Это ветер прошел по обугленным стенам,

Обметая золу на пожарищах старых,

Он клубится Крещатика прахом священным,

Душным пеплом, летящим из Бабьего Яра.

Если вы под листвою пахучих каштанов

В этом городе горе бывшее забыли,
Вам напомнит о нем, обдавая нежданно,
Безутешное облако пепла и пыли...

Семен одобрительно кивнул и после раздумья сказал:

— Я попал туда еще в сорок третьем, когда руины не успели разобрать, и Бабий Яр был как открытая рана. Дома отстроят, а эта рана, боюсь, не скоро заживет. Крещатик... Я очень его любил. На его месте появится новая улица. Надо полагать, она будет красивей и просторней прежней. И все же мне жаль старого Крещатика. Знаешь, никакой проспект не заменит нам ту улицу, по которой протопала наша юность.

И, как бы отгоняя от себя грустные мысли, он без перехода спросил:

— А базары украинские любишь? Могучая вещь — украинский базар! Шум, звон, краски... Кавуны, груши-дички, глечики с ряженкой, макитры с малосольными нежинскими огурчиками, связки лука из Бахмача, вареная кукуруза, семечки прямо с подсолнуха... Красота!

— А на пляж ездил? Труханов остров любишь?

— А Матвеевский залив!

— А Владимирская горка!

Так мы всю дорогу признавались в любви к нашему Киеву, скорбели и радовались, предавались воспоминаниям и шутили, и опять читали стихи.

А на другой день я улетел в Кенигсберг, и мы увиделись лишь через год.

Путь, пройденный Семеном Гудзенко в годы войны, широко известен и многократно описан. И прежде всего им самим. В стихах его запечатлены те солдатские высоты, на которые он считал необходимым добровольно подняться, прежде чем взяться за перо и сойти в поэзию: «Быть под началом у старшин хотя бы треть пути...»

Об этой трети он рассказал и в записных книжках, которые вел на фронте. Они уже знакомы читателю. Я хочу напомнить несколько строчек из этих записей:

«2 января 1942

Ранен в живот. На минуту теряю сознание. Упал. Больше всего боялся раны в живот. Ходить не могу... Бабарыка перевязал. Рана — аж видно нутро. Везут на санях...

...Полечусь и снова в бой.

4 марта

Вчера вышел из дома. Пахнет весной. Не заметил ее начала.

Завтра мне двадцать лет. А что?»

Весь характер Семена — в этом «А что?».

Мудрость ветерана, и оптимизм двадцатилетнего, и перенесенные страдания, и вера в будущее и в себя — все в этом вопросе-вызове.

Вот он идет, Семен Гудзенко, в шинели, пропахшей дезинфекцией, в кирзовых сапогах, коротко остриженный, осунувшийся, только что покинувший госпитальную койку. Но кругом весна и завтра — день рождения.

А что?

Есть у Гудзенко стихотворение «Сапер».

Всю ночь по ледяному насту,
по черным полыньям реки
шли за сапером коренастым
обозы,
танки
и полки...

Это стихотворение неоднократно переиздавалось. Но ни в одном издании не указано имя человека, которому оно посвящено. Между тем это человек, очень близкий Семену, старший брат его — Михаил Гудзенко.

Написав стихи в сорок втором году, Семен, когда они печатались, постеснялся поставить над ними посвящение. Мало ли саперов рискует на фронте жизнью? Неловко выделять своего родственника. Не решился поэт сделать это и в сорок третьем, когда брат погиб. Сколько саперов пало на войне! И строки были адресованы всем, кто, жертвуя собой, расчищал путь войскам.

О том, что стихи посвящены Мише, знала только мать. И она согласна была с младшим сыном, что в годы всеобщей беды не следует подчеркивать личную утрату. Пусть в стихах воспеваются все братья, все сыновья.

Скромность эта может показаться чрезмерной. Но от этого она не становится менее благородной.

Лишь недавно было обнародовано посвящение.

В Доме актера готовился вечер памяти Гудзенко. Было решено, что каждый из участников вечера завершит свое выступление стихами Семена.

Я позвонил матери поэта, которая из-за болезни не могла присутствовать.

— Ольга Исаевна, дайте совет — какие стихи мне прочитать?

И мать ответила:

— Прочитайте стихотворение «Сапер» и сообщите, что оно было посвящено Мише. Теперь это уже можно. Я думаю, что и Семен теперь разрешил бы...

...В писательскую среду Гудзенко вошел с естественностью человека, попавшего сюда не случайно, явившегося сюда по праву, не за легкой славой, а за тем, чтобы работать всерьез.

Он не робел перед авторитетами, суждения его были самостоятельны и по-юношески категоричны. В то же время собственный литературный успех не кружил ему головы. Его хвалили, одна за другой выходили его книжки, появлялись уже переиздания. Но и тени зазнайства в нем не было. Свойственное ему чувство иронии проявлялось и по отношению к самому себе и от многого спасало. Его «лидерство» среди молодых выражалось прежде всего в заботе о товарищах — он «проталкивал» чьи-то рукописи, он выискивал молодых армейских, еще неизвестных поэтов. Он составил из рукописей этих поэтов сборник для Воениздата. Если не ошибаюсь, в сборнике впервые печатались Евгений Винокуров и Константин Ваншенкин.

...Собеседник и рассказчик Семен был отличный Живой, остроумный, он поражал меткостью суждений, отточенностью каламбуров, мягким юмором.

Он сразу завладевал разговором, выкладывал новости. И прежде всего это были новые стихи. Он с ходу начинал их читать. Читал он превосходно, подчеркивая ритмические ходы, энергично выделяя сочетания звуков.

Помню, как звенела его «Трансильванская баллада», когда он словно высекал слог за слогом.

Занят Деж,
Занят Клуж,
Занят Кымпелунг.
...Нет надежд,
Только глушь.
Плачет Нибелунг.

Через некоторое время, на пороге зрелости, он перестанет увлекаться этой звукописью. А пока ему приятно сознавать свою силу, поигрывать мускулатурой стиха.

Любил он эту игру и у своих товарищей. Очень нравились ему стихи Павла Шубина.

— Здорово сделано! — говорил он и с увлечением читал:

Есть город матросов,
Ночных контрабасов,
Мохнатых барбосов
И старых баркасов,
Зюйдвесток каляных
На вантах наклонных
В ветрах окаянных
Рассолом каленных.
Там ворвани бочки
Не моря подачки,
Грудасты там дочки,

Горласты рыбачки...

Это могли быть и другие строки полюбившихся ему поэтов — Недогонова, Орлова или Межирова. Немного знал я людей, которые так, как Семен, искренне радовались бы чужому успеху, и не только близкого товарища, но и человека в общем далекого от него и по складу характера, и по поэтическому почерку.

Сколько в Семене было доброжелательства и любви к поэзии, душевной широты и уважения к мастерству!

...Мы привыкли встречать его после больших дорог, веселого, переполненного впечатлениями, похудевшего, обветрившегося, пропахшего дымом костров, прокаленного азиатским солнцем.

Закарпатье, Тува, Туркестанский военный округ — куда только его не заносило. Он возвращался с новыми стихами. Чемодан был набит рукописями, вырезками из газет, фотографиями, записками, полученными во время выступлений. И всегда привозил он адреса новых друзей.

Если можно было бы собрать вместе всех его друзей, то на эту встречу пришли бы десантники, воевавшие бок о бок с ним в Подмосковье, и однокурсники из ИФЛИ, армейские газетчики и ташкентские поэты, львовские студенты и солдаты Кушки...

...Мучительно писать о последних месяцах его жизни, о той мере физических страданий, через которые пришлось ему пройти.

Мы знали, что он мужественный человек. Об этом свидетельствовал путь, пройденный им в годы войны. Но борьба Семена со смертельным недугом раскрыла такое неисчерпаемое богатство, таившееся в нем, такую цельность натуры, что поражены были даже люди, близко знавшие его.

Мы часто навещали Гудзенко в нейрохирургическом институте, где он перенес сложнейшую мозговую операцию. В палате вместе с ним лежали тяжело больные, порой обреченные люди.

Семен был душой этого маленького коллектива людей, проходивших страшное испытание. Он находил в себе силы шутить, сочинять больничные частушки, рассказывать забавные истории.

Можно было лишь догадываться о том, как страшны были часы одиночества в бессонные ночи. Но к утру он уже был собран. И посетителей встречал обычным:

— Ну что, великие утешители? Садитесь. Начнем отвлекающий треп.

И тут же начинал рассказывать что-нибудь смешное, иронически описывал больничный быт.

Настроив всех на «веселую волну», он говорил гостям:

— Ну, а теперь выкладывайте свои новостешки. Кто что пишет? Кто кого ест?

И все кругом улыбались. Лица больных светлели.

О болезни речи никогда не было. Лишь однажды он сам заговорил о ней. Было это так. Я сказал шутливо:

— Вот уж воистину, солдат спит, а служба идет. Пока ты тут прохлаждаешься, пришла верстка двух твоих книг — «Новые края» и воениздатовский «Дальний гарнизон». Скоро они выйдут в свет.

Семен махнул рукой и тихо ответил:

— Не в этом счастье, старик. Отдаю обе эти книги за то, чтобы встать на обе ноги и пройти по комнате. А книг можно много еще написать...

...Перед последней отправкой в больницу я навестил его дома. Он лежал полупарализованный, с белой шапочкой на голове. Мы были одни в комнате. Он показал глазами на листки со стихами, отпечатанными на машинке.

— Вот посмотри, написал недавно.

Я начал читать. Теперь эти стихи знают все.

Я пришел в шинели жестко-серой,
выданной к победному концу,
юный, получивший полной мерой
все, что полагается бойцу...

— Ну как? — спросил Гудзенко.

— Семен, родной, это замечательно, это здорово. Но самое главное — эти стихи залог твоего скорого выздоровления. Если ты можешь сейчас так писать, значит, мозг...

Он прервал меня, положив свою ладонь на мою руку.

— Не надо, — сказал он твердо. — Слушай меня, старик, мы тут одни. Давай будем серьезны и поговорим как мужчина с мужчиной. Я все понимаю. Через полгода я стану горсткой пепла. Стихи эти — последние, может быть предпоследние. Знаешь — лампочка, перед тем как перегореть, дает вспышку. Вот так. И хватит об этом.

И он вдруг улыбнулся так же, как тогда, в сорок пятом, на улице Воровского, когда стоял, полный юношеского задора и лукавства, и, вытянувшись, держал руку у козырька кепки, здоровый, рассчитанный, казалось, на долгую жизнь.

...Доблестно пройдя треть военного пути под началом у старшин, он стал служить с тем же солдатским достоинством главному своему призванию. Перед ним простерлась большая дорога его жизни в поэзии.

Но едва-едва миновав первую треть этой новой, открывшейся перед ним дороги, он был сражен в мирное утро, когда не осколки, а февральские ветры свистели за больничным окном.

Всего одна треть... Но она бесценна. Она стоит продолжительной и плодотворной жизни.

Того, что успел сказать Семен Гудзенко, хватит надолго.
Вот почему он по-прежнему в дороге, он открывает новые земли,
завоевывает новые сердца.

Юрий Левитанский

Памяти ровесника

*Мы не от старости умрем —
От старых ран умрем...*

С. Гудзенко

Опоздало письмо.
Опоздало письмо.
Опоздало.
Ты его не получишь,
не вскроешь
и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
К стене повернулся устало.
И упала рука.
И не видишь.
Не слышишь.
Не дышишь.
Вот и кончено все.
С той поры
ты не стар и не молод,
и не будет ни вёсен,
ни лет,
ни дождя,
ни восхода.
Остается навеки
один нескончаемый холод
продолженьем
далекой зимы
сорок первого года.
Смерть летала над нами,
витала, почти ощутима.
Были вьюгою белой
оплаканы мы и отпеты.
Но война,
только пулей отметив,

тебя пощадила,
чтоб убить
через несколько лет
после нашей победы.
Вот еще один холмик
под этим большим небосклоном.
Обелиски, фанерные звездочки —
нет им предела.
Эта снежная полночь
стоит на земле
Пантеоном,
где без края могилы
погибших за правое дело.
Колоннадой тяжелой
застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над ними,
как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
уходят Карпаты
под торжественный купол,
где звезды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы!
Это скорбные вехи —
пути моего поколенья.
Я иду между ними.
До крови закушены губы.
Я на миг
у могилы твоей
становлюсь на колени.
И теряю тебя.
Бесполезны слова утешенья.
Без тебя мне шагать
и подхватывать песню на марше.
Ничему не подвластен
железный закон притяженья
к неостывшей земле,
где зарыты ровесники наши.

Лев Озеров

Словарь русского языка

Это было поздней осенью 1955 года.

Ольга Исаевна Гудзенко, мать Семена, ставшая после его смерти другом всех его друзей, сказала мне:

— Я хочу подарить вам первые три тома словаря русского языка. Семен подписался на него и успел получить первые тома.

Подойдя к книжной полке и прикоснувшись к серым корешкам с золотым тиснением, она продолжила:

— Вот они! Возьмите! Остальные будете получать по мере их выхода. От имени Семена.

Три тома словаря я отвез домой. Здесь я увидел, что словарь начал выходить в 1950 году, и Семен — по принадлежности к поэзии и филологии — заинтересовался этим фундаментальным многотомным изданием, рассчитанным на многие годы и на долгую жизнь человека.

Магазин Академкниги помещался на улице Горького, напротив телеграфа, в очень удобном для покупателей, продавцов, для самих книг помещении. Потом в этом помещении открыли кафе, а Академкнигу перевели в дом напротив Моссовета, по правое копыто коня Юрия Долгорукого.

Я подходил к стойке отдела подписных изданий и говорил:

— Гудзенко, Семен Петрович, Чайковского, 13, квартира 23.

Продавщица отыскивала в картотеке его карточку, на которой вслед за действительными двумя подписями Семена Гудзенко с печальной неопределенностью расписывался я.

Шли годы. Выходили очередные тома. Менялись члены редколлегии словаря, некоторые из них оказывались в траурной рамке. А я все продолжал неизменно подходить к прилавку и говорить продавщице:

— Гудзенко, Семен Петрович, Чайковского, 13, квартира 23.

Четырнадцать томов. Четырнадцать разных переживаний.

Четырнадцать кусков моего житейского времени. Конечно, и в другие дни и часы я думал о Семене Гудзенко. И на вечерах его памяти, и в разговорах с друзьями, в работе с Ольгой Исаевной над рукописью его, и при подготовке книги его избранных стихов, и при собирании материалов для статей и заметок о нем. Но всего острее мысль о нем трепетала во мне, когда я на карточку подписчика словаря ставил его имя. Перо горело в моей руке.

В моих раздумьях о Семене Гудзенко участвовало прошлое — воспоминания, настоящее — работа над его наследием, будущее — осмысление его опыта для новых поколений, передача его наследия еще неведомым нам наследникам.

Я заметил: чем ближе человек, тем трудней писать о нем. К чему ни прикоснешься — все больное. Все стало моей жизнью. Вплоть до подписи. У нас было общее и разное. Одно принималось безоговорочно,

другое оспаривалось — дело живое. Как река в приоткрывшуюся плотину, жизнь моего друга стремительно заполняет всю душу.

...Вторая половина тридцатых годов. Приезжаю на каникулы из Москвы в Киев. Сестры рассказывают мне, что на нашей Тарасовской улице появился школьник, пишущий стихи.

Гудзенко? Имя всплыло в моей памяти, когда этот юноша поступал в ИФЛИ. Он пришел экзаменоваться, а я уже заканчивал институт. Общежитие в Останкине. Семен Гудзенко рывком открывает легкую дверь моей комнаты. Здесь живут четверо: Лорис Овсепян — мой друг, историк, научивший меня любить армянскую речь и армянскую поэзию, красавец и умница, погибший на войне; Георгий Азовцев — мечтатель и спорщик, близкий мой друг в институтскую пору; Николай Серов — искусствовед, очень аккуратный, знающий толк в домашнем уюте, и я. Это была пора подготовки к государственным экзаменам. Времени в обрез, спешка, напряженность, суета.

Пришел Гудзенко, и мы разговорились, вышли на воздух. Как я был рад тому, что Семен отвлек меня от институтских тетрадей и программ. Мы бродили по Шереметьевскому парку среди старых статуй и молодой зелени и читали стихи. Нас сотрясали ритмы Багрицкого и Пастернака, Сельвинского и Есенина, Блока и Маяковского. Мы были переполнены стихами. Читали их взхлеб, уже не слушая друг друга, а одновременно. Иногда наши голоса звучали в унисон, строки, читавшиеся Семеном, подхватывал я, начинал я — он поддерживал своим ломким баском. Мы кричали, удаляясь от дворца, где страдала Параша Жемчугова, в глубину старых дворянских аллей. Мы бродили, не чувствуя под собой земли.

Были еще встречи, беседы, душевные чтения, совместные планы. Но вскоре все начнется наперекор нашим планам! Будет пожар в общежитии. Буду прыгать со второго этажа со своими тетрадками и со скрипкой, поддерживаемый за ворот Жорой Азовцевым, потом с отчаяния влезу в чужие тесные брюки и с отчаяния состригу свои кудри, и потом все же соберусь с силами и сдам госэкзамены, и потом поступлю в аспирантуру и начну работать в «Правде». Потом начнется война. Мы с Семеном Гудзенко потеряем друг друга и потом все же найдем друг друга.

...Из института вместе с другими студентами-ифлийцами летом 1941 года он ушел на фронт.

Был путь, как Млечный —
раскален и долог.

Упрямо выл над соснами металл.

Обветренный, прокуренный филолог
военную науку постигал.

Позднее я узнал, что бойцом в составе отряда лыжников Гудзенко участвовал в боях под Москвой, партизанил в тылу противника. Зимой 1942 года вместе с отрядом воевал на Смоленщине. В боях за деревню Маклаки был ранен. После госпиталя с бригадой «Комсомольской правды» по путевке ЦК ВЛКСМ работал журналистом в Сталинграде: писал заметки и статьи, песни и лозунги.

В год 1943-й, до его поездки в Сталинград, мы и встретились. Иду по Маросейке. Недалеко от Армянского переулкa сверху, с Покровки, взвод солдат. По всему видно: они после госпиталя. Некоторые в бинтах. И в строю — он!

Командир разрешил Семену выйти из строя. Мы обнялись, договорились о встрече. И опять мы не могли наговориться. Читали стихи. Вместе относили «Однополчан» и «Баллады» в издательства.

С фронта Семен Гудзенко принес стихи — позднее объединенные в циклы и книги, — сделавшие его имя известным. Эти стихи писались в прямом смысле перед атакой. Короток, как молния, был путь от замыслов до текста. В эти мгновенья Семен Гудзенко сказал за себя и за всех. В эти мгновенья он был гениален.

«Мудрость приходит к человеку с плечами, натертыми винтовочным ремнем, с ногами, сбитыми в походах, с обмороженными руками, с обветренным лицом...» С фронта Семен Гудзенко пришел именно таким мудрецом. Хотя остались в нем и восторг, и озорство, и даже мальчишество. Сколько метких двустуший было им послано друзьям по разному поводу, как задиристо выступал он на литературных вечерах, утренниках, посиделках, с какой энергией читал стихи (жест правой руки — кулак ударял, как молот по шляпке гвоздя или шел наотмашь по диагонали, будто что-то с яростью перечеркивая и отменяя).

Однажды Семен говорит мне:

— Оставь на время свои пейзажи и послужи газете «Победа за нами».

Семен свел меня с редактором газеты добрым Тругмановым. Я делал подтекстовки, писал очерки, статьи, подготовил для газеты стихи и в нескольких ее номерах печатал поэму об Александре Чекалине.

С благодарностью я вспоминаю это шефство младшего над старшим, Семена надо мной, его заботливое отношение ко мне и моей работе.

Увлеченный работой над очерком о своем погибшем друге Герое Советского Союза Лазаре Папернике, Семен и меня увлек. Мне было поручено под портретом Паперника, опубликованным в газете, сделать подтекстовку.

— Ну вот, оказывается, сумел... Не все же писать акварели. Можно и лозунг и марш!

Каждый раз при встрече, как бы мы ни были заняты, читались новые стихи из тетрадей, записанные на отдельных листах, в блокнотах, на полях книг.

В память врезалось: Тверской бульвар, осень, малоллюдно, пасмурно, скамейка напротив дома Герцена. Мы перебиваем друг друга, торопимся сообщить друг другу побольше о поэтах, о поэзии, мечтаем о будущем.

...Есть поэты, чьи биографии глядят на читателя прямо со страниц стихотворных сборников. Поэзия их встает впереди всех предисловий. Она, как пехота, входит в непосредственное соприкосновение с читателем. К числу таких поэтов принадлежит Семен Гудзенко. Он работал над стихом настойчиво, но ему не терпелось выйти к читателю и слушателю. Он был из числа тех, кто пробивал дорогу слову звучащему, успеху тех поэтов, которые придут позднее — уже в середине, во второй половине пятидесятих годов, подготовит почву для победного шествия поэзии в сердца читателей.

«Поэзия — честность, настоящая на страстности», — сказано в одной из записных книжек Семена. «Если не задыхаешься в любви и горе, стихов не пиши», — находим там же.

С такой установкой можно было входить в жизнь и в литературу, смотреть в глаза матери, любимой, однополчан.

Жизнь он считал той вершиной, с которой сходят в поэзию:
Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути.
Потом могу я с тех вершин
В поэзию сойти.

Он стал правофланговым нашей военной поэзии. Это лирика и эпос — поэма «Дальний гарнизон».

Но как бы ни было велико место, занимаемое военной темой в творчестве Семена Гудзенко, нельзя всю его поэзию сводить только к этой — пускай и главенствующей — теме. У него есть и улыбка, и озабоченность, и пейзаж, и раздумье, и радость, и печаль. Его муза жадна до жизни. Полна чаша его влюбленности во все, что облекает душу в плоть, его восторженного преклонения перед чудом жизни. Как молодо, свежо и празднично выглядит этот поэтический мир. Как убедительно и привлекательно это жизнелюбие. Послевоенный Кола Брюньон идет по земле:

А дождь накрапывал, накрапывал,
автобус путая в сетях.
Автобус, как медведь, похрапывал,
шерсть оставляя на кустах.

И еще:
Светлеет запад и восход
по расписанью ночи.
И золотистый небосвод
ветрами обмолочен.

И еще:
Все идет ходуном,
в ус никто не дует.
Над бочонком с вином
девушка колдует.
.....
фиолетовый хлеб,
розовое пиво.
Я оглох.
Я ослеп.
Я совсем счастливый!

Стих Семена Гудзенко подчас задыхается от счастья видеть, слушать, обонять, петь, говорить. Он торопился жить. Он был жаден до жизни. И он тосковал по размеренной работе, по глубокой вспашке поэтического поля. Он готовился к большому циклу работ.

— Надо по-настоящему сесть за историю, за словари, шлифовать каждую строчку.

...Сажу возле постели Семена в большой светлой палате. Он молчит. Ему тяжело. Не уйти ли мне?

— Посиди!

Сажу и после долгой паузы рассказываю Семену о своей поездке по Литве. О том, как читал там его стихи своим друзьям, что эти стихи нужны людям.

Семен оживает, насколько это возможно в его состоянии.

После меня приходит Лариса, потом она расскажет мне, что застала Семена оживленным, с пробудившимся интересом к жизни.

Быть нужным людям — это его представление о счастье. Об этом он говорил в стихах и в прозе. Может быть, об этом он думал при последнем нашем разговоре.

...В промежутках между операциями он жил новыми замыслами, следующей работой. Я не встречал более обнадеженного человека. Мы ходили по Кисловским переулкам, по Собиновскому, по Герцена. Весна, поэзия, будущее, дети... Именно тогда были написаны стихи, получившие название «последних».

В прохладном затененном вестибюле больницы перешептываются друзья и знакомые. Ходим из угла в угол.

По широкой лестнице медленно спускается Ольга Исаевна. Ни расспросов, ни бюллетеней. По лицу ее все видно...

...В некрологах и статьях говорится, что его жизнь была короткой. Это справедливо, если жизнь измерять днями и годами.

...И вот последний, 17-й том словаря от «Х» до «Ящурный». Год 1965. Как известно, последний том выдается по квитанции, по задатку, внесенному при подписке. Квитанция утеряна.

Иду к директору магазина. Вкратце рассказываю ему историю, приведенную здесь. Он говорит: «Вы получите этот том. Нужно только письмо от матери Семена Гудзенко».

И Ольга Исаевна пишет письмо, и я получаю последний том, и мне жалко, очень жалко, что я не смогу больше от первого лица говорить продавщице:

«Гудзенко, Семен Петрович, Чайковского, 13, квартира 23...»

В. Ларцев, доцент Самаркандского университета В Самарканде

Вторая половина октября 1950 года. Самаркандский университет опустел: объявили — завтра студенты всех факультетов выезжают на сбор хлопка. И несмотря на горячий день сборов и на то, что о встрече с Семеном Гудзенко знали только члены литературного кружка, литературный кабинет филологического факультета к семи часам вечера был полон...

Около факультетской стенной газеты «Филолог» стоял высокий человек в светлой рубашке и светло-серых брюках. Он внимательно читал стенгазету, иногда что-то записывал себе в блокнот. К нам на собрание литературного кружка часто приходили ребята с заводов «Красный двигатель», «Кинап». Они читали свои стихи, рассказы, спорили. Я и подумал, что на встречу с московским поэтом пришел кто-то из заводских ребят.

Высокий человек, которого я видел около стенной газеты, прошел к кафедре между рядов. Он окинул всех взглядом своих больших, глубоких и немножко печальных глаз и сказал:

— Начнем? Я в Самарканде третий раз. Очень хотелось встретиться с филологами. Признаться, боялся, что сегодня встреча не состоится. Ведь все готовятся к выезду на уборку хлопка.

Семен Гудзенко кратко охарактеризовал основное направление советской поэзии в послевоенные годы.

— У нас еще много пишут стихов о войне, — сказал он. — Да это и понятно. Эта тема надолго. Пишут наши поэты и о мирном труде. И это хорошо. Однако почему-то мало пишут о жизни советских воинов в

мирной обстановке, о их трудных буднях. Меня эта тема захватила всего. Вот уже несколько лет бьюсь над «Дальним гарнизоном». Закончил поэму, напечатал, но неудовлетворен, часто бываю в воинских частях и проверяю на солдатах правдивость написанного. В правдивости изображения — вся сила нашей поэзии... Я просмотрел несколько выпусков вашего рукописного альманаха «Путь молодых». Отметил, многие из ваших начинающих поэтов мало знают жизнь, слабо знакомы с поэтической техникой. Очень много стихов вы пишете о природе и любви, мало о сегодняшнем дне. А дни-то у вас какие! Горячие, боевые!

Семен Гудзенко рассказал нам и о своих трудностях, неудачах, внушая нам мысль, что поэзия трудное, повседневное дело.

Нам казалось странным, что поэт, выпустивший уже несколько сборников стихотворений, «не похвастался» ни одним из них, ни разу не оттенил свою удачу. Но эту удачу, талантливость, искренность и глубокое знание жизни мы почувствовали, когда он стал читать нам свои стихи.

Он прочел «Балладу о дружбе». Но как прочел! Семен Гудзенко преобразился. Того человека, который только что спокойно рассказывал о поэзии, уже не было. Был Гудзенко-боец. Он был весь в напряжении, словно готовился к смертельной схватке с врагом. И когда он прочел:

Мне дьявольски хотелось жить, —
пусть даже врозь, пусть не дружить,
Ну, хорошо, пусть мне идти,
пусть он останется в живых.

Поделит с кем-нибудь пути,
и хлеб, и дружбу на двоих.
И я шагнул через порог... —

мы все замерли, мы ясно почувствовали, что это поэтом не выдуманно, что он это пережил, что он и тогда и сейчас — всегда готов ради друга идти на смерть. И поэт стал нашим лучшим другом, за которого мы теперь тоже готовы были идти в огонь и в воду.

Крепко ударили нас по сердцу эти строки.

То, что Семен Гудзенко наш, современный комсомольский поэт, поэт молодости и отваги, певец современных мыслей, чувств и переживаний молодежи, мы еще глубже почувствовали после горячего чтения таких стихов, как «Память», «Перед атакой», стихи из «Сталинградской тетради». Мы всем сердцем осознали, что жизнь для Семена Гудзенко — это непрерывная борьба, неустанный труд, крепкое единение с народом, что он «всегда перед атакой».

А потом с улыбкой и с какой-то особой задушевностью поэт прочел нам «Вешние воды». Помню, после мы повторяли четверостишие из «Вешних вод», так образно рисующее картину русской природы:

Черемух белые платки
мелькнули в мелколесье,
как будто кто-то у реки
их просушить повесил.

Мы дружно аплодировали и тем строкам из ненапечатанных еще стихотворений, которые изображали среднеазиатские пейзажи, были наполнены самаркандским воздухом.

По окраине заречной, где сады
над потоком замутненным, но студеным,
к сентябрю, напившись солнца и воды,
спины гнут под урожаем многотонным;

по окраине булыжной, как всегда,
как по зимней норме с неба синих сводов,
телеграфные забиты провода
снегом хлопкоочистительных заводов...

После встречи мы все вышли вместе с Семеном Гудзенко на бульвар. Мы увидели, как он утомлен. По дороге в гостиницу он говорил мало. Шел медленно, смотрел себе под ноги, загребал носком обильно нападавшие на тротуар огромные листья чинар и тополей.

Я и Василий Шутов^[5] попросили у Семена Петровича разрешения завтра зайти к нему.

— Что ж, заходите. Часов в одиннадцать...

Утром, когда мы вошли в номер к Семену Гудзенко, он полулежал на диване и читал. На подоконнике, на диване лежали свежие газеты, журналы. Как бы пересиливая себя, чуть приподнявшись, он улыбнулся и сказал:

— Садитесь, садитесь, — и, помолчав, добавил: — Мне что-то сегодня нездоровится. — Он провел несколько раз по животу ладонями, его лицо на какое-то мгновение исказилось. Потом он обратился к нам: — Ну, что там у вас новенького? Выкладывайте!

Хотя он старался быть веселым, однако глаза его были печальные, он часто смотрел через нас, в окно, на улицу. Ни я, ни Василий не знали тогда, что Семен Гудзенко был тяжело ранен в живот в 1942 году.

Василий стал читать свои стихи. Семен Гудзенко не перебивал, слушал, а когда Василий кончил читать, неожиданно спросил его: «Сколько вам лет?» Василий ответил. «Значит, 1923 года рождения. Мы почти ровесники. Был на фронте! — он утвердил это, посмотрев на

боевой орденом Василия. — А вот этого как раз и не ощущается в ваших стихах. По стихам не видно, что вы прожили такую трудную и интересную жизнь. Тематика у вас какая-то отвлеченная. И такие спокойные стихи... Я думал, что в ваших стихах отобразится окружающая жизнь, ваша республика. Ведь сколько кругом примечательного! — Он взял со стола огромную розовую гроздь винограда осеннего сорта и сказал: — Какая внутренняя сила! Сколько энергии и какой прекрасный урожай! Видите, как крепко прижались виноградинки. Такую бы силу в стихи!»

Он оторвал несколько потерявших форму виноградинок, положил их на ладонь и внимательно стал рассматривать.

Зазвонил телефон.

— Здравствуйте, товарищ подполковник. — Лицо его оживилось. — Это очень хорошо... Ждите... Еду... — Потом бросил трубку и, обращаясь к нам, сказал: — Начинаются учения. Здорово! Еще раз проверю жизнью свой «Дальний гарнизон».

Юрий Окунев

«Упал, метнув гранату...»

Вагоны выездной редакции «Комсомольской правды» стояли напротив городского сада. За три года, прошедшие со дня окончания битвы на Волге, руки жителей города еще не успели обновить этот участок земли. Прежде всего — заводские цехи и жилища. Людям жить было негде...

Рано утром около вагона послышался чей-то голос:

— Семен Гудзенко приехал?..

Кто-то крикнул, что вместо Гудзенко приехал другой.

Последовал ответ:

— Нам другого не надо, нам Гудзенко нужен!

«Другим» был я, и мне захотелось взглянуть на тех, кому я не нужен...

Я увидел девушку и троих парней, которые с разочарованием поглядывали на вагоны выездной редакции. Я сказал им, что я и есть «другой».

— Но нам бы Семена... Он бы смог...

Девушка, поправив очки, торопливо пояснила:

— Понимаете, мы комсомольский пост. Понимаете, Юркин не ставит в новой школе котлы для парового отопления. Обещает и каждый день срывает график. В общем, понимаете, молниеносно нужна убийственно-уничтожающая листовка. Чтобы ее положить под стекло на столе Юркина. Чтобы утром он пришел, увидел, завопил... Сумеете?

— Попробую...

— Гудзенко это здорово умел!

Потом я понял, что иду по следу Семена Гудзенко, по следу легенды о нем...

Первые добровольцы-строители и первые жители города с волнением рассказывали о юноше-поэте из выездной редакции «Комсомольской правды». Он появлялся перед ними не как официальный представитель, не предъявлял мандата, не объявлялся поэтом. Они позднее узнавали об этом. Если он чем-то и выделялся, то особой отзывчивостью, мягкостью, романтической приподнятостью.

Он появлялся словно из-под земли в землянках и траншеях, переоборудованных под общежитие.

Пушки смолкли. Наступила тишина, о которой Гудзенко писал:
И тишина, неслыханно большая,
лежит в снегу, на битых кирпичах,
на гильзах, почерневших и холодных,
на кранах, позабывших о воде...

Была удивляющая тишина, ослепляющая победа. И ни одного уцелевшего здания. Люди приспособливали под жилье доты, траншеи, землянки.

Добровольцы-строители выпускали в одной из землянок боевой листок. Несколько девушек склонились над деревянным самодельным столом. Заметки уже написаны, а вот со стихами дело не клеится... И вдруг чей-то голос произносит слова Мефистофеля из «Фауста»:

— «А вот и я, и денег много, и плащ мой драгоценен...»

Девушки от неожиданности вздрагивают, оглядываются.

Перед ними скорее молодой Фауст, для Мефистофеля он слишком обаятелен. Вместо «драгоценного» плаща — обыкновенная солдатская гимнастерка. Улыбка у гостя лукавая и вместе с тем дружеская. Девушки окружают неожиданного гостя.

— А где же рога?

— Я их спрятал. Чем могу быть полезен?

— Если вы действительно черт, то, чтобы мы поняли, что нам чертовски повезло, сочините для боевого листка стихи о наших каменщиках.

— Я готов. Только мне нужны их души...

— Их души на дежурстве. В самом разгаре рабочего дня. Их нельзя тревожить.

— Ну что ж, если не души, то хотя бы имена и фамилии.

— Это можно...

Получив листок с именами и фамилиями, Семен Гудзенко придвинул табуретку, сел за стол.

— А теперь, девушки, посидите минут тридцать в сторонке.

Девушки с нескрываемым любопытством, уставясь в затылок симпатичного пришельца, перешептывались. Гудзенко полушутливо потребовал:

— Замерите!

Ровно через полчаса, точно в назначенный срок, объявил:

— Готово!..

Светлокосая редколлегия боевого листка удивилась чуду: стихотворный текст так быстро и так остроумно написан!

А таинственный «свойский парень» помогал уже другим добровольцам устраивать свое жилище. Он не брал у жителей города интервью, не был в городе гостем — вместе с жителями он переживал все лишения и неудобства. Стихи стихами, газета газетой, но прежде всего он рядовой участник восстановления города. В 1943 году он имел полное право написать:

Первым плотницким ударом

Для товарищей своих

Сами вытесали нары,

Сами сколотили их.

Незнаком я с делом новым,

Нюют руки, ломит грудь.

На широких на сосновых

Так приятно отдохнуть...

Поздно вечером усталый, запыленный, но счастливый Семен Гудзенко попадался на глаза редактору «Комсомольской выездной»:

— Ты где ходил?

— По планете...

— Что раздобыл?

— К утру станет ясно.

И садился писать очерки, стихи, плакаты.

Я почти на каждом шагу — на руинах, на дверях восстановленных зданий, на заборах, на бортах грузовиков — встречал плакаты со стихами Семена Гудзенко. Строки его жили, призывали. Они стали боевым кличем. Я продолжал идти по его следу и наслушался немало трогательного и диковинного. Может быть, не все полностью соответствовало фактам, но все наверняка совпадало с душевной широтой и щедростью Семена, так хорошо знакомой всем его друзьям. Мне говорили:

— Это не тот ли Гудзенко, что всю ночь напролет читал нам в землянке стихи, шутил с девушками?..

А некоторые из них, чего таить, были тайно влюблены в него. И, как известно, девушки в скучных людей не влюбляются. А он был веселым человеком, умел посмеяться и беззлобно высмеять. Только попадись ему на язычок!

Я сам часто становился «жертвой» его острот и каламбуров.

Уборщица одного строительного треста утверждала:

— Это он спас моего племянника Витьку! Все приметы говорят, что он!.. Витька и его дружки — ни дна им, ни покрышки? — затеяли «раскопки» в овраге. Ну и нашли гранату. Ну и решили посмотреть, что у нее внутри... ни дна им, ни покрышки! И только это они хотели что-то дернуть — перед ними появился парень в кирзовых сапогах, в солдатской форме, только без погон, выхватил у ребят гранату и сказал: «Это мы быстро!» Что-то повернул, что-то вынул, вздохнул с облегчением, вытер пот со лба, щелкнул Витьку по носу и позвал: «Добровольцы-самоубийцы, за мной!» — «Куда это?» — «Сначала посмотрим остатки „хейнкеля“, а потом я вам работу дам». И увел их.

— А может быть, это был другой, а не Семен Гудзенко?

— Так на то приметы есть...

— Какие же?

— Собою красивый! Брови на переносице срастаются! Да что там! Я его позднее на митинге видела. Когда декламирует, воздух рукой разрубает?

— Значит, он. Личной персоной.

— За ним мальчишки толпой бегали. И Витька и другие...

В обкоме комсомола мне сказали:

— Гудзенко нам очень помогал. Он скорее был наш сотрудник, чем выездной редакции. Но редактор не сердился. Цели ведь у нас общие...

С утра начиналось паломничество в его купе. Он подолгу совещался с пионерами. Потом они выходили с кипой газет и листовок. Приходили начинающие поэты. Приходили девушки: и строительницы, и работницы, и пионервожатые. Сотрудники редакции пытались иронизировать:

— Что это к тебе девушки на исповедь зачастили?..

Но подшучивать над Семеном было небезопасно. Редко кто мог сравняться с ним в остроумии и находчивости. Реагировал он мгновенно и так чувствительно, что во второй раз не захочешь с ним потягаться...

Как-то утром он шел по городу и услышал доносившийся из землянки, где жили строители, шум. Как оказалось, одна из девушек, не выдержав трудностей нелегкого быта, сбежала со стройки домой. Оставив подругам письмо, она незаметно покинула землянку. Семен застал ее подруг разъяренными. Они призывали его устроить над «дезертиром Катькой» беспощадный гражданский суд: «пригвоздить», «заклеймить», «распотрошить» и т. д.

Семен с улыбкой просит:

— Если она вернется, обещайте мне делать вид, будто ничего не произошло...

— Ищи ветра в поле...

— Она уже давно под стук колес мечтает о варениках бабушки.

Семен опять:

— Так как — слово даете?

— Трудно это. Всыпать бы ей с аппетитом...

— Слово даете?

— Ладно. Обещаем...

На другой день, проснувшись, девушки обнаружили на нарах Катьку. Она как ни в чем не бывало улыбалась во сне. Где разыскал ее Семен, что сказал, осталось неизвестным...

С мая по ноябрь 1943 года жил и работал в городе доброволец-солдат легиона строителей Семен Гудзенко. Восстанавливал город, писал стихи и лозунги, сажал деревья, личным примером воодушевлял на подвиг. И потому был награжден медалью «За трудовую доблесть».

А покинув берег Волги, никогда душой не расставался с великим городом. Где бы ни находился, о чем бы ни писал, он вновь и вновь обращался мысленно к городу на Волге. Эта тема как лейтмотив пронизывает его юность, проходит через все последние годы его короткой жизни, как через «Неоконченную симфонию».

В 1946 году он вспоминал о великом городе в стихотворении «Журналист».

В 1947 году в стихотворении «Слово солдата» он говорит о том, что «негаснущее пламя» этого города
...горит в сердцах моих однополчан.

В поэме «Подвиг ровесника», оконченной в том же 1947 году, поэт писал, что он хочет со своим ровесником пройти
...под-над Волгою по улице широкой,
мимо ослепительных домов.

Однажды осенью Семен Гудзенко приехал на Волгу. И друзья встретили его с распростертыми объятиями.

Поэма «Дальний гарнизон» была окончена в 1950 году. В главе «Вечерняя поверка» говорится:

упал, метнув гранату,
чтоб земляки прошли
быстрее...

И не только к городу на Волге, но
...и дальше —
полземли!

Гудзенко прошел «полземли», был с советскими войсками в Венгрии, ездил в далекую Туву и в Закарпатье, побывал в Туркмении у пограничников, и везде с полным основанием он мог сказать о себе словами героя поэмы «Дальний гарнизон»:

Я был простым солдатом,—
Мильоны нас таких...

Владимир Беляев

Друг из Москвы

Во Львове уже пышно цвели каштаны и буйное, второе послевоенное лето постепенно входило в свои права, как вдруг по городу пронеслась весть: «Приехали Борис Горбатов и Семен Гудзенко. Будут выступать».

С Борисом Горбатовым я встречался в конце 20-х годов в Донбассе и даже печатал на страницах молодежной газеты его «Ячейку». Он-то и познакомил меня с Семеном Гудзенко.

Бывают такие открытые, цельные натуры, с которыми сразу идешь на дружбу без боязни ошибиться в человеке, и человек этот входит в твою жизнь. Таким человеком был Семен Гудзенко. Он обладал способностью легко знакомиться с людьми, устанавливать с ними душевные контакты.

— Показывайте город! — попросил Гудзенко. — Все показывайте!

Часами я водил его по узеньким улочкам предместья, показывал старинную латинскую кафедру и Армянский монастырь четырнадцатого века, переводил ему надписи на древних памятниках живописного Лычаковского кладбища, которое львовские патриоты считают вторым по красоте в Европе после Генуэзского.

Во Львове, в окружной военной газете, Семен Гудзенко встретил много своих фронтовых друзей. Сколько было переговорено им с друзьями, сколько боевых эпизодов вспомнано!

Круг интересов Гудзенко был необычайно широк. Помню, один из вечеров мы провели за стенами Онуфриевского монастыря, где похоронены первопечатник Руси Иван Федоров, напечатавший в одной из келий первую на Украине книгу — «Львовский апостол».

...Мы часаами бродили по аллеям Стрийского парка, взбирались на макушку Высокого замка, уходили в заросший высокими серостволыми буками окраинный лесопарк Погулянка.

— Вы понимаете, — как-то сознался мне Гудзенко, — я хочу познать душу Львова, а до нее, оказывается, не так-то просто добраться! Город-

то с очень запутанной историей. То Австро-Венгрия, то Польша, то многовековые влияния католицизма. Сам черт голову сломит во всех этих сложных оттенках и исторических переплетах...

Как-то я познакомил Семена Гудзенко с одной девушкой-гуцулкой, переселенкой из Польши. Она переживала временные разочарования: в частности, не могла из-за каких-то простых формальностей продолжать высшее образование, к которому стремилась.

Несколько часов слушал Гудзенко историю моей знакомой, вникал в существо ее обид. Когда на следующий день в узеньком номере гостиницы «Интурист» я спросил: «Ну как, Семен? Что вы думаете об этой истории с девушкой?» — Гудзенко сказал: «Я, откровенно говоря, чувствовал большой стыд оттого, что в нашей прекрасной, мудрой стране она прежде всего натолкнулась на идиотов, которые своей тупостью вредят Советской власти...»

Девушка эта благодаря доброму вмешательству Гудзенко успешно закончила Львовский университет, сейчас преподает в одной из школ старинного города, довольна своей судьбой...

Да, Семен Гудзенко был настоящим человеком, кровно заинтересованным в судьбах простых людей, в процветании и престиже нашего советского общества.

Семен Гудзенко горячо полюбил Закарпатье. Поездки по этому краю оплодотворили его поэзию, вызвали к жизни много светлых, жизнерадостных стихов о шахтерах, о смелых людях, о плотогонах-бакарашах, живущих по обе стороны Карпат.

Еще тогда, будучи во Львове и собирая «заготовки» для новых стихов, Гудзенко знакомил нас с замыслами своей поэмы «Дальний гарнизон». У него было много друзей во Львове. К Семену «на огонек» приходили многие военные журналисты, часами слушали стихи Семена о боевых днях и о новых людях, увиденных поэтом в Прикарпатье.

* * *

...— А где у вас базар? — спросил однажды меня Семен. — Люблю базары, особенно летом.

На следующий день мы пошли с Семеном на Краковский базар.

Уже появились во всем своем многообразии первые плоды лета: розовая молодая картошка, морковь, петрушка, груды укропа, колючие темно-зеленые огурчики, груды румяной редиски, первые пунцовые помидоры, привезенные из Закарпатья. Тут же торговали засушенными багровыми перцами, вязками чеснока, ожерельями лука, отпускали стаканами в бумажные кульки оранжевую паприку. На стойках поблескивали, попахивая болотной тиной, жирные, скользкие лини, зеркальные королевские карпы и остромордые щуки, а в ивовых

кошелках, грозно шевеля усами, ползали медлительные пучеглазые раки.

Семен Гудзенко пристально вглядывался во все это богатство щедрой прикарпатской природы, бродил по рядам, приценивался, покупал впрок, на вечер, куски кровавой полендвичи и пахнущей чесноком темно-коричневой домашней колбасы приговаривая:

— Здорово! Какое разнообразие! Какие краски! В Москве базары куда бледнее. А здесь — такая палитра!

Глядел я в его проникновенные карие глаза, и почему-то вспоминались мне такие же жадные до жизни, ненасытные фламандские мастера, их наполненные обилием плодов земли натюрморты, перенесенные из мира зрительных ощущений в мир реального искусства плотью и талантом художника.

Была у Семена Гудзенко одна прекрасная черта характера — доброжелательность к своим коллегам, стремление помогать своим товарищам по перу и постоянно делиться с ними тем, что он увидел в провинции...

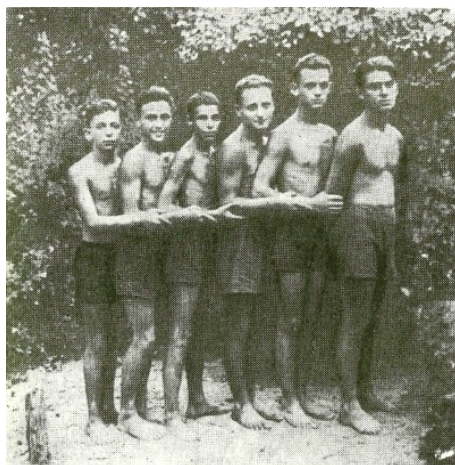
Помню, я как-то пожаловался, что приходится большую часть времени уделять публицистике, действовать, так сказать, в области «малых форм», не дожидаясь, пока все виденное и переживаемое отложится в виде больших произведений, потому что в трудные, послевоенные годы для литератора, живущего на земле, зараженной бациллами фашизма, — это сейчас главное. По секрету я признался Гудзенко, что все же потихоньку работаю над окончанием трилогии «Старая крепость», начатой еще до войны, в Ленинграде.

Когда мы шли по городу, на рассвете, Гудзенко расспрашивал меня, как дальше поведут себя герои «Старой крепости», знакомые ему еще со школьных лет, по первой повести. Мимоходом сказал:

— Вот закончите книгу, обязательно присылайте в Москву. С удовольствием напишу о ней.

У Семена Гудзенко слова не расходились с делом. Когда трилогия вышла, Гудзенко, не дожидаясь, пока я ему пришлю книгу с дарственной надписью, потратил «четвертную» и купил книгу. Он опубликовал о ней в «Литературной газете» большую статью «Первые всходы революции», в которой очень доброжелательно и профессионально разобрал достоинства и недостатки книги. Приятно было читать его вдумчивую, на редкость хорошо написанную статью. Затем на страницах журнала «Огонек» он очень доброжелательно отозвался о моей документальной повести «Граница в огне», рассказывающей о подвиге 13-й пограничной заставы.

Правильно сказал кто-то, что на таких людях, как Семен Гудзенко, — добрых, отзывчивых, принципиальных, — земля держится, потому что они оставляют большой след в сознании и памяти знавших их людей и помогают своим творчеством лучше понимать и ценить жизнь.



Волейбольная команда. Первым стоит С. Гудзенко. Артек, 1938 г.



Фронтовые друзья. Наверху, второй слева направо Семен Гудзенко. 1942 г.



Плакаты со стихами С. Гудзенко.





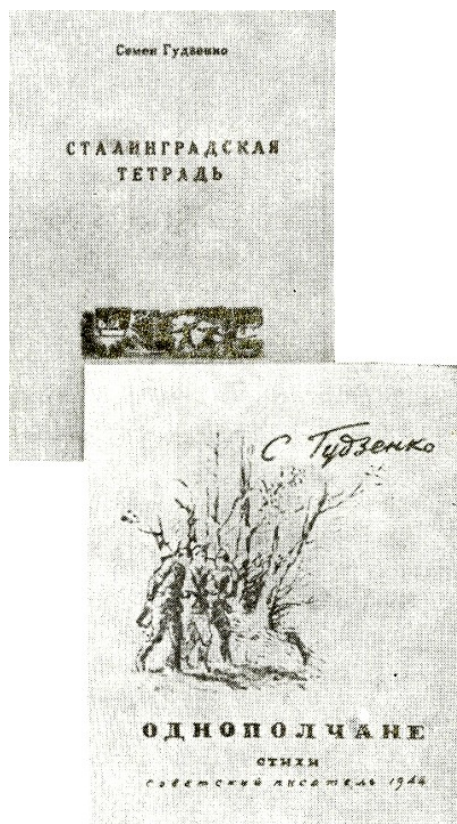
Плакаты со стихами С. Гудзенко, выпущенные редакцией газеты «Комсомольская правда» в Сталинграде. 1943 г.



Работники выездной редакции газеты «Комсомольская правда» в Сталинграде. 1943 г.



«Ребята из газеты „Родина зовет“», — написал С. Гудзенко на обороте этой фотографии, присланной матери. 1945 г. (Второй слева С. Гудзенко).



Обложки первых книг стихов С. Гудзенко.



С. Гудзенко, П. Антокольский, М. Луконин. 1947 г.



Участники I совещания молодых писателей: М. Луконин, В. Урин, В. Захарченко, А. Межиров, В. Тушнова, С. Гудзенко, П. Антокольский (руководитель семинара). Москва. 1947 г.



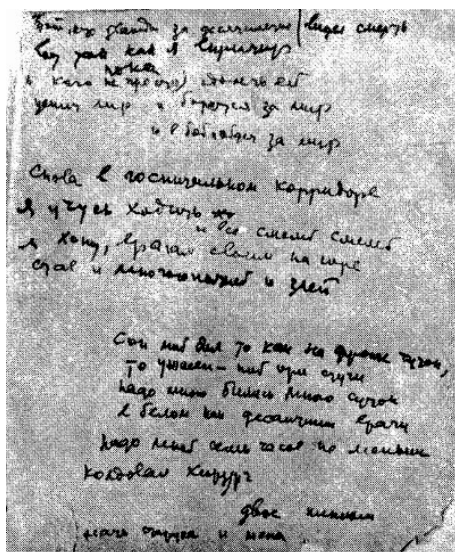
На семинаре молодых поэтов. Ленинград. 1948 г.



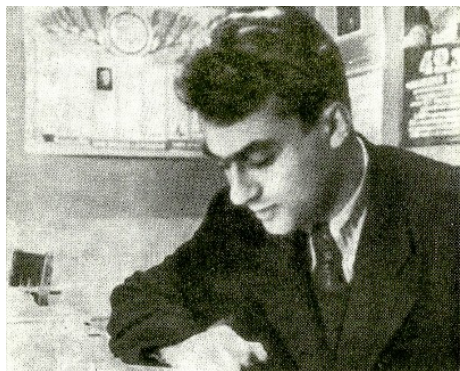
Семен Гудзенко среди героев «Дальнего гарнизоне». 1950 г.



**«Дочка у меня такая милая, милая — как дети всей земли...».
Строки из стихотворения «Катюша».**



Черновик одного из последних стихотворений поэта.



Семен Петрович Гудзенко.

СОДЕРЖАНИЕ

Бог. Ломатовский. «Каждый помнит по-своему»	4
1941—1943 гг. Стихи. Из записных книжек	10
1944—1945 гг. Стихи. Из записных книжек	34
1946—1952 гг. Стихи. Главы из поэмы «Дальний гарнизон». Из записных книжек	60
Воспоминания друзей	
Расул Гамзатов. Памяти Семена Гудзенко	119
К. Лазюк, командир отряда ОМСБОН. Воинок-комсомолец	120
Илья Давыдов, врач батальона 2-го полка бригады особого назначения. Начало пути	122
Михаил Лукоянов. Талант на гребне жизненных испытаний Павел Антокольский. «Мы никогда не отворачиваемся от тебя!»	125
Василий Субботин. Поколение	130
Александр Межиров. Памяти друга	135
А. Сеховицер, командир отделения, однополочник. Что вспоминаю	140
Яков Хелемский. Третий путь	142
Юрий Левитанский. Памяти ровесника	145
Лев Озеров. Словарь русского языка	154
В. Ларев, доцент Самаркандского университета. В Самарканде	156
Юрий Окунов. «Ушла, мстиву гранату»	162
Владимир Бедяев. Друг из Москвы	166

Гудзенко Семен Петрович.
ЗАВЕРШАЮЩЕЕ МУЖЕСТВО. Стихи. Записные книжки. Воспоминания друзей.
М. «Молодая гвардия», 1971.
176 стр., 6 илл.
Редактор Д. Богдановская
Учредитель Д. Шенгелов
Стилистический редактор В. Палачко
Учредитель редактор Г. Григорьев
Корректоры Г. Киселева, А. Стреланина
Сдано в набор 17/11 1970 г. Подписано к печати 2/11 1971 г. АН133. Формат
84х108. Бумага № 2. Тираж 10.000 экз. Цена 50 коп. Т. П. 1971 г., № 140. Заказ 1183.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Суворов-
ская, 31.



notes

Примечания

1

Царица — река в Сталинграде.

2

ПРИВО — Приволжский военный округ.

3

ОМСБОН — отдельная мотострелковая бригада особого назначения.

4

Отрывки из статьи П. Антокольского, опубликованной в его книге «Пути поэтов» (Москва, 1965 г.).

5

Сейчас В. Шутов работает в редакции областной газеты «Ленинский путь» (г. Самарканд), пишет стихи.